



ГОЛУБОЙ ОГОНЬ

Избранное

София
Юзефпольская-Цилосани



София
Юзефпольская-Цилосани

*Сборник посвящается моему мужу и
лучшему другу Сани Цилосани.*

*Тоска смертельна в зареве небес.
Курок зари взведен над головою.*

Мой **ГОЛУБОЙ**
ОГОНЬ,

*до вечной темноты
не оставляй меня, -
что станет делать лес
цветы и поле
с утренней росой,
что станется с душой,
когда ты отгоришь?*

Blue Light. Selected Poems
Sofiya Yuzefpolskaya-Tsilosani

2012

Blue Light. Selected Poems
Sofiya Yuzefpolskaya-Tsilosani

EDITOR: Nugzar Tsilosani-Yuzefpolsky

BOOK LAYOUT: Sapho Tarkashvili

COVER: Churlenis "Sonata of Stars"

© Sofiya Yuzefpolskaya-Tsilosani, 2012

LTD Favorite Print, Tbilisi 2012

ISBN 978 -9941-0-4733-6

sofiya@u.washington.edu



Мы выйдем на сушу - и тьма удлинится
на каждую видимую частицу
лица, говорят - миллиарды частиц
живут в каждом взмахе в длину ресниц,
и вся эволюция - место разбоя
от яблочка рая - до старого Ноя.
От яблочка глаза - до яблочка рая
узнаешь меня? Я звезду заклинаю...
Мы встретимся, небо качая на спинах,
губами, как реками, впадшими в глину,-
пустыни ссылая в дубленую кожу,
столетия всех одиночеств - до дрожи,
до в сердце капли, что пела в начале,
когда мы купели в моря укачали.
И счастье - в стихии, и глупое горе.
Я - Слово в сорочке.
Меня вы любили -
нагое.

ВВЕДЕНИЕ

«Свиданий наших каждое мгновенье...»

А. Тарковский

Введение в книгу стихов - калитка. Или дверь.
Или портал.

Но в книгу Софии Юзефпольской дверь не нужна.

Она сама и есть дверь в такой мир, который не приснится ни за что, ибо это не сновидческий мир, не грёзовый, не упоительно нежный, а...другой... Просто... «другое дерево». А мир называется - кровный мир, родственного духа, яркого горения, памяти и любви.

Мир «огородных российских дождей и укропа», мир «косолапых оваций», мир «пожарного апельсина, мир звуковой насыщенности абсолютного поэтического слуха - по большому счёту - мир Каны Галилейской - свадебного чуда и мир Холокоста - загубленных человеческих жизней, малых деток, будущих судеб...

И потому так колокольню звучит: «Я - Слово в сорочке. Меня вы любили нагое».

Крестовый мир. Крестовые сёстры и братья, крестовые друзья, дети, крестовые сирени, мельницы, лопасти пропеллеров, крестовый витрувианский человек...

Поэзия Софии тчётся из небесного и земного крестового материала, из высоты и магии, из соков жизни и воздуха, и травы, запахов, луж,

кошек, чашки чая, пряди волос, взгляда любимого человека, детства... Это ткачество.

Именно образ храмовой завесы приходит на ум, потому что поэт делает это как служение, он на него поставлен. Вся жизнь выткана на этой завесе, малютка-жизни и тайна-жизнь, и неподъёмная скорбная жизнь... В какой-то момент завеса становится театральным занавесом, на котором - столько музыки, такие скачут тени, так крепко целуются или жестоко дерутся... И завеса и занавес в особый момент могут пасть. Тогда остаётся голая сцена, на которой никого нет. Один ветер.

Софиино творчество надо воспринимать пространственно, в особой оптике. Одновременно принимая мелкие, микроскопические планы и высотные - надмирные. Ею создано и вынянчено - ЭТО - правда, ничего, кроме правды... Не надо и клясться. Так сложилось ещё до её рождения.

СТИХИ её полны драгоценных подробностей, они цельны и целостны.

Исполняют открытие. Ибо каждый стих - портал - шаг за шагом - арка за аркой, верстовой столб за верстовым столбом, от России - до Америки и обратно в Европу... след в след - восходит и восходит... И горы эти: Синай, Фавор, Голгофа, Кавказские, Уральские, Тибет, Алтай... Софиина поэзия имеет отношение к горному миру. И к морскому океану тоже. Как та ласточка, которая летит четыре дня, не зачерпнув воды крылом.

А полёт - словами, дыханием, паузами, когда можно как будто заснуть, когда не есть и не пить -

подлинник. Дорогой читатель, вы держите в руках книгу, в которой много первичного.

А это редкость. И радость.

Постарайтесь усыновить её, принять в себя, побаюкать в своём сердце. И стать богаче.

Автор всё положил на то, чтобы Вы стали богаче.

Чистая поэтическая речь, светоносная метафора, мощные, иногда даже мясистые образы, голос крови, скрипки, любви, дивная иудейская тема - псалмопевческая - это призвание и избрание.

Любопытно, что находясь на пороге, читатель чувствует всегда, что он с краю, а это означает только одно - чувство Судьбы.

Вот основная тональность поэзии Софии Юзефпольской.

И, если есть это чувство, то Судьба управляема. А смерть отступает.

И кот никогда не умрёт, друзья будут веселы и здоровы, мир, устроенный сложно, иногда горько и болезненно, всё равно скажет о том, что обниматься лучше, чем горевать.

Поэт вам поведаёт, что «если вы всерьёз требуйте ответа, то всерьёз

его и получите». И это будет «Вопрос из мрака. И ответ из света»...

Татьяна Осинцева.

Написано 4.07.2012 в часовне Лурдесской Девы Марии, Синт-Виллеброрд, Нидерланды.

И время приходит, когда ты на карту ставишь звезду.
А ставка - лишь отблеск - в осколке из откровенья.
И даже если ей тлеть на земле в аду,
То только так продолжают ее свечение.
И только так закаляют в углях - грифеля.
В засаленных залах расхожей игры на счастье
Оставить свой росчерк, записку, зеленое ля.
Неважно в кого и к кому воплотивши земное участие.

СНЕГА И СИРЕНИ

Зачем меня в жизнь отдали?
Уж, Боже, не для того ли,
чтоб - долей - вкрутить в педали
горЕ - мое детское - гОре.

Чтоб первым же летом завлащивали
у пыльного пульта окна
сирени - мне в звезды сбрасывая
обрывки речей и сна.

Чтоб позже, подставив варежку,
у тихих снежинок учиться
неповторимости давешнего,
разыгранной в первых лицах, -

рассыпанной в не-размеренном
в прогнозах погоды, пророчествах,
на сине-сплошном, самодельном,
без мифов, без смыслов, без почестей...

Зачем я сюда приходила? -
спрошу у снегов и сирени.
Для первого одиночества
у первого удивления.

ШУТ ВЫБИРАЕТ САМ

Шут выбирает сам и грязь и князя.
И маску, и морзянку - даже мази
для лиры и царя,
и их погост,
не дрогнув мускулом лица -
его ведь нет - он толст,
и груб - и смотрит косо на престол,
шут выбирает сам, как посмешней укол
вкатить под сердце и царю и черни.
Шут выберет - не быть,
чтоб Гамлет стал заметней.
Чтоб руки воздевали к небесам
в полете самых горних вдохновений,
шут выбирает смех и тела ...
и в тень - себя распнет. С его лица -
пусть длится бытие - в трагическом похмелье.
В его ж небытии дрожит свобода,
как корка черствая чужого небосвода
ему - расплатой - от господ и дам.
Он шут. Он выбирает это сам.

ТИФЛИС

Город, в котором время
дышит сквозь поры града
камня - сквозь терку щебня,
горя и винограда,
в сите дворов и вязов,
в черных крылатых масках
судьбы стоят лучами
над тротуаром красным.
Время больших поэтов
здесь пенится серым камнем
и наполняется пепел
ветром и платом горбатым.
Лазарем цивилизаций
ходит по городу море,
в ветреном сером платье
в чашечку гор встроен.
Нет - не встроен - прострелен
Насквозь - землей и светом,
Странник - уходит в горы,
пленник - укутан в ветры,
как в переплет книги,
пленник - тесный - тесненный
носит судеб вериги,
грозный, гранатом граненный.
В коже граната - сутью
зерна добра, и соком
здесь всех культур судьбы
лопаются под током
синего-синего неба

в бархатной чашечке горней, -
даже поверить трудно
в то, что ты здесь посторонний,
в то, что я здесь не был.
Детство мое - грудью
вспаиваешь - из Эреба
самой сказочной грустью.
Где времена - семьи:
братья, друзья, сестры,
правит мне новоселье
город твой востроносый.
Птичье мое новоселье
в трелях гортанного рая,
город, где о поэтах -
каменных - не забывают.

В ИСКУССТВЕ... MANIFESTO

В искусстве мне важнее перегон
вагонов, рельсы ржавые, пространство,
подозреваемое между первым дном
и тайным дном у чемодана, и лекарство,
что принимает человек, сидящий за столом
меня напротив. Мной любимо в перспективе
открыть круговращение столбов,
и день, прошедший, словно в негативе,
и рябь под окнами квадратов и углов
от занавесок, и летящий мне навстречу
лес темный - проводница, как Вергилий,
чтоб чаю принесла и сбросила на плечи

сырое одеяло - в сон застылый,
чуть матовый, ночного света хруст,
за лязгом времени чуть запотевший диск
с секундной трелью, - бесполезный визг
всех тормозов, но боле из искусств
предпочитаю то, где липнет мокрый лист
пощечиной к стеклу вагона, где на бис
колес выходит запылавший куст.

ЗВЕЗДОЧКА-ШТЕРНЭЛЭХ МАЙН

еврейскому портному...

Некоторые печальные рыцари до сих пор
принимают ее бледный вид за отраженье
гордого величья луны.

Звездочка моя, девочка моя, фейгеле моя.
Мальчик мой, местечковый мой, грустноглазый мой.
Девочка моя, фейгеле моя, звездочка моя.

Звездная россыпь младенческих скрипок из-под
окон ее детской памяти, из-под полозьев
радужных санок - звездочки крошечных колокольцев,
сквозь вой метелей по волжским просторам - в глазках
плавает красный туман советских елочных звезд
в паре дыханья из замороженных парков
русской зимы ее детства -

там - всплески открытых, пронзительно - ярких красок:

звездочка моя, девочка моя, фейгеле моя
мальчик мой, местечковый мой, грустноглазый мой,
девочка моя, фейгеле моя, звездочка моя.

Чудные спектакли звездных снежинок, поющих
на театральных площадях Петербурга - грациозно, нежно
летающих сквозь волшебные фонари, сквозь
млечный путь гласных, согласных, галактики
русских стихов, обнаруженных еще ранее
в шуршащем мраке гниющей, съёжившейся осенней листвы
желто-черных полутонов русского декадентства -

там - всплески открытых, пронзительно - ярких красок:

звездочка моя, девочка моя, фейгеле моя,
мальчик мой, местечковый мой, грустноглазый мой,
девочка моя, фейгеле моя, звездочка моя.

Кровянистые, звездные иглы
бабушкиной рубиновой брошки,
пришпиленной к белой груди
первого бального платья - первая
кровянистая, беззвездная ночь
бледно, тупо и равнодушно взятого,
онемевшего тела -

там - всплески открытых, пронзительно - ярких красок
плачут тени:

звездочка моя, девочка моя, фейгеле моя
мальчик мой, местечковый мой, грустноглазый мой,
девочка моя, фейгеле моя, звездочка моя.

Звезды молочных капель из бряцающего бидона
Тови Молочника под тусклым слабеньким светом
прикроватного ночника - над постелью ее одиночества
Блуждающие Звезды Шолом-Алейхема, звезды,
забродившие кровью предков, выжатые из каждой
виноградины соломоновой Песни Песней, - кровь,
танцующая, взрывающаяся в горячем экстазе
восторга звездой Давида, и льющая, льющая
прямо в сердце тихий свет милосердия -
обещание младенца - звездой Вифлеемской -

там - всплески открытых, пронзительно - ярких красок:

звездочка моя, девочка моя, фейгеле моя
мальчик мой, местечковый мой, грустноглазый мой,
девочка моя, фейгеле моя, звездочка моя.

Звезды грудастых розочек добрейшего смеха,
выпрыгивающие из под блестящих каблуков Чарли,
растрепанные невесты, летящие сквозь сиреневые звезды
рассыпающегося цветка на парижских полотнах Шагала,
голубиные души звезд у виолончельных ню Модильяни -
утопленные в лужицах их пустых и бездонных глаз.

Там - всплески открытых, пронзительно - ярких красок:

звездочка моя, девочка моя, фейгеле моя
мальчик мой, местечковый мой, грустноглазый мой,
девочка моя, фейгеле моя, звездочка моя.

Звездные дыры Освенцима - желтый немой
шестиконечный ужас, нашитый на грудь

непробудного молчания вселенной, но и там,
за звездными колючками концлагерной проволоки,
протянутой сквозь безумный, оледеневший космос
страдания - там
тоже всплески открытых, пронзительно - ярких красок

плачут тени:

звездочка моя, девочка моя, фейгеле моя
мальчик мой, местечковый мой, грустноглазый мой,
девочка моя, фейгеле моя, звездочка моя.
И вот, пока еще не поседело небо с восходом
тусклого солнца - не побледили и окончательно
не исчезли звезды с горизонта несостоявшейся
встречи - не погибли среди миллионов лет
мирового изгнания родные души,
маленькая, она разбивает свои лучи
на кусочки цветного стекла - чтобы стать
калейдоскопом - живой игрушкой -
для далекого чужого человека,
умирающего на другом конце света
от тоски о несовершенстве создания -

в нем всплески открытых, пронзительно - ярких красок

плачут зеркальные тени:

звездочка моя, девочка моя, фейгеле моя
мальчик мой, местечковый мой, грустноглазый мой,
девочка моя, фейгеле моя, звездочка моя.

Поцарапанное эхо маленькой погибшей звезды - скрип

дешевых цветных стекляшек - скрипичное соло
обманного оптического эха сердца -
в местечковой колыбельной свадебного навечно
- эхо, -
которое некоторые печальные рыцари
до сих пор путают с
шумным величием волн, движимых бледной луной.

Ди шатн вэйнен:

штернэлэх майн, мэйдэлэх майн, фэйгэлэх майн,

йингэлэх майн, штэтэлэ майн, митн ройрикн ойгэлэх майн,
мэйдэлэх майн, фэйгеле майн, штернэлэх майн

плачут тени

плачут тени

МОЕМУ КОРОЛЮ

На одного маленького ребенка не хватило в мире любви.

Марина Цветаева

У меня нет достоинства, у меня только 200 сирот.

Януш Корчак

Доктор, война уснула,
Таня уснула, кукла,
к синим губам раздутым,
пальчик прижала, уксус
выскоблил звезды на досках, -
докторская гигиена -
в этом сиротском доме
чище б для дочки - стены.
Чище бы там, Марина,
где до последнего всхлипа
в синем - не ждали смерти,
в чести - не верили нимбам.
Там, где летят дети
с поезда под откосы.
Не лебедята - клином.
Там - не живые кости.
Просто поход на остров,
птичий веселый щебет.
Ждет здесь детей в гости
не золотая лебедь.
Это не Эльба - тосты
за гениальное детство
здесь не уместны;
детям -
верится просто в место,
где навещается мальчик,
брезговавший рыбьим жиром,
детский король неудачник...

глупый, а Доктору - миром
всем предлагали волю,
волю - ты слышишь, Марина, -
в снежном твоём Подмоскowie,
в горьком твоём дыме ? -
<волю - побег-паспорт >
Слышишь Отказ, где сказка
длилась - до самого газа
там, -
где и ангелы в масках,
там,
где Архангелам - сера
там,
где от моря - корчит ,
мечется сердце в перьях
вовсе не Лед, - а квочек.
С ним бы наркоз - синька.
С ним - не до сфер. Кроток.
Там - не до звезд. Трёмблинка.
С девочкой - Матиуш Корчак.
Моему Королю.

ИСКОРКА

S.

Никто тебя, как я - любить не сможет.
Как я - не любят - в темной глубине -
У космоса в остроге - в жуткой стуже -
На кольях звезд - навыворот - без кожи -
Без тела - но его изнанкой все же,
В себе самой - сапфирной искоркой - на дне.

ДА

Да - это самое нежное,
самое доброе слово в мире.
Его говорят мысли,
и она замедляет свой бег
по кругу железной клетки
и останавливается
в свободном центре значенья.
Его говорят чувству,
и чувство, сладко потягиваясь,
успокаивается, как ребенок
на лебединой подушке счастья.
Его говорят смерти
и с миром уходят,
не цепляясь за угол кровати.
Его говорят богу
и совершают подвиг
любви и прощенья.
Его невозможно
солгать или придумать, -
и поэтому оно
самое жестокое в мире слово.

Меня как будто нет
без книжек и без сказок.
Меня как будто нет
без голубых салазок.
Без детства меня нет,
запахнутого в шубу.
Лишь пухнет сумма лет

упрямая, как лупа,
в которую дышу,
как в память, - осторожно.
И пальчиком вожу
по льдистым, хрупким, ложным
стекляшкам. В них снежок
смешные строит рожи.
Но тает тот снежок
под каблуком прохожих.
Прохожие ж года,
холодные годочки ...
Так жизнь была легка,
что выпадали строчки.
Так жизнь была легка,
распавшись на снежинки.
Но каждая горит
в полях аквамаринных.

ЖИТИЕ

Привычка жить неистребима.
Я припадаю на нее.
И тащится за мной курсивом
Мое хромое бытие.

Там где-то падает ребенок
С крыльца в бездонья темноту,
Из всех испуганных силенок
Доказывая правоту

Полета в ночь. Но не смутила
Сиянье то. Коленки в кровь.
А что еще? Ах, да - любила:
Любила - просто так - Любовь.

ДО ДНА

я пью до дна, и я пью залпом
я пью до дна под огненосным залпом
я пью осадки, и потом я пью стекло
я пью осколки, если разнесло
стакан на дребезги и после
я буду землю пить и кости
и воздух буду пить до дна
и задохнусь, и в пустоте одна
я буду пить у пустоты из ложки
налей-ка мне надежды на дорожку
и буду пить из чашки нашей встречи
и, может, на часок мне станет легче,
а кончится надежда - есть вина
и из нее я буду пить до дна
до капельницы дна, до дырки в шторе
из каждой запятой в евангелие и торе
я буду пить, пусть нарисовано окно
на стенке у меня - но праздник, но вино,
но Кана - только раз бывает Кана.
(в пустышке губ мелком чирикает пробел -
и Он - тогда - не так, чтобы хотел ...)
и я - теперь - совсем-совсем устала...

ДВИЖЕТСЯ МОРЕ

1. Сосуд

...так осколки разбитой посуды
собирают, и склеить не могут.
Трои падают, движется море,
каждый сам выбирает сосуды
и ножи для обточки строчек -
горл, в которых морями клокочет
то ли отповедь, то ли скрипка,
и богов непонятна улыбка
для пророка, пока он не правит
тем ножом, коим сам себя ранит.
Знание будущего - химера,
переход из пространства в тело
очень прост для горящих мыслей.
Но вот кто зажигает выси
над своей, над чужой головою? -
там, где вечность склоняет к горю,
и звезда теребит подушку,
там где строятся судеб горы,
и играют моря с ракушкой...
...тихий голос его подслушать...
и царя отличить от вора, -
и пророческого договора
не нарушив, услышать в небе:
сам себе выбирает лебедь
смерть в последнем из одиночеств...

2. Маленькой Кассандре

Как жить, когда раскрыт любой тайник?
Как пыль живет, когда окно открыто...
В глазах ребенка - солнечной уликой,
что комната безвременьем промыта;
пыль - света видимость, а за окном притих
пустырь времен, и так вот в этом танце
сама все кажется дитяти пыль - лучом:
в ресничной благодати нипочем
ни Трои гибель, ни коварные спартанцы.
Безумной девочке, Кассандре, зареветь,
моря, размазав по щекам, не так чтоб в горе.
Пророчество ведь не кимвал, не медь:
глаза песка, земная пыль, цветное море.

3. Ковчег

И ангелы - порой - по паре.
Всезнайка в горней седине,
я в облаках тебя оставил,
войдя в ковчег свой на земле.
И превратился ты в голубку,
и полетел ты над водой,
и вот уже какие сутки
не возвращаешься за мной.
Я небесами заплатила,
за поворот к земле руля,
и Леты вечные ветрила
вокруг зелёного огня
шумели, но не Лета - море
с зелёной веточкой в губах
летит навстречу - золотое,
и лето жмурится в песках.

И имя, - то, что сохранила,
меня встречает, вводит в дом.
И ангел, ангел сизокрылый
прогуливается под окном.
А я кормлю его с ладошки;
рубинной бусинки испуг
в его глазах, - а хлеба крошки
в морях размочены разлук.

МАРИНЕ

Иногда от лжи спасает плоскость, -
дня сухая, серая холстина.
Заглянула в комнату Марина,
и сказала, знаю все - что жизни косность.

Здесь ни музыки, ни слов, ни роз.
Здесь все это умирает, чтобы снова
ты слышала, как безутешно прост
плач ребенка, брошенного Богом.

Здесь поскребыши всего, что пело Свят,
вспоминают, как любить без фальши.
Знаю все. А на Марине платье
черное, до самых звездных пят.

ИЗ ЦИКЛА ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ПОЭЗИИ

У поэзии дня не бывает,
и просрочена каждая ночка.
Перелетная строчек стая
тянет путь свой из синей точки;
огибает три полушарья
тот забор меж раем и адом, -
сядет, вытащит нотку клювом
и играет на дудочке стаду.
Стаду ангелов, стаду бесов
на морозе искрящемся, лютом.
Мессу счастья, симфонию блуда,
середину темного леса.

ТАК ПИШУТСЯ СТИХИ...

...и шестикрылый серафим
на перепутье мне явился
Пушкин

Ты скажешь: я опять качала газ из звуков
в пузырь экрана ... не ведома силой духа
я никуда. Что здесь мои святыни
прогоркли в сигаретном сизом дыме.
Ты скажешь ... То есть, я. Самой себе.

Здесь больше
нет никого. От этого лишь тоньше,
задумчивей общенье с каждой тенью...

А память - суть - душа ... в подсветке ...
и под сенью
чужих стихов: цепочки аллегорий ...
а цепь на дубе том ... качели ... сад у моря ...
то вверх рванет, - то вниз ... засвечен шар луны.
Я дергаю за шнур - и вот зажглись миры
и мириады слов восходят в небесах ...
Внизу штормит... Тошнит... Откуда там взялась
как всплеск волны - вина - водицей на экране?
Ах, ангел, это ты? Ты в тридевятиом вале,
бушующем в груди, не пенки снял, а пену;
намазал на экран, добавил совесть к делу.
Мне хлопали. А ты? - Ты выходил на браво.
И все-таки со мной ты жаден, жаден, право!!!
Еще б побушевать. Но стихло. И не зги.
Пустыня. Мрак. Влачусь. Вокруг одни пески.
То есть в душе. Не на светящемся экране.
Ок-ей. Продолжу свой девятый в ванне.
И, может, там, мой ангел, мы вдвоем
до крови в пузырях виски мне разотрем.
В аптечном шкафчике есть нашатырь тоски.
Вот так и пишутся у нас с тобой стихи.
Закончил? Что ж, поспи. Ты сир. Ты очень мал.
Спи, милый серафим. Ты так устал.

В начале было Слово, и Слово было у Бога,
и Слово было Бог.
Все чрез Него начало быть, и без Него ничто
не начало быть, что начало быть.

Евангелие от Иоанна. I, 1

И свет во тьме светит, и тьма не объяла его.

Евангелие от Иоанна. I,5

И слово в начале было.
И свет светил в темноту.
И солнце живое, как рыба,
сверкало и билось на льду.
А в старом рубище мастер
настаивал красок вино,
и грыз ребенок фломастер -
и все получалось одно:
ослепшее солнышко в блестках,
изящной рукой темнота
его обнимала, а после
ни зги не видать, ни черта.
В объятых руки ль неумелой,
в объятых ль руки золотой -
ослепшее солнце - белило,
и в кровь замешав платяной,
бумажный ль - ягнула рисунок -
пускала птичкой в окно...
А слово в начале было.
И слово было вино.
На кухне горит котлета,
ребенок в кроватке спит,
и свадьбу играют где-то ...
И Бог пред Пилатом молчит.

ПОЭТЫ

Я хочу прийти к такой тишине,
где шаги поэтов заворачиваются в кокон.
Бумага, лампочка на стене,
на столе, как положено, недопитый кофе.

Кокон, шуршащий их размышлениями
о времени, о рассеянных школьных минутах,
на переменах свернутых
в трубочки вдохновенья,
выплывающих, как в трубочку,
воспоминания о необутых

чувствах, шлепающих под дождями,
о непроходимых чашах детской простуды,
о фройлене Гретхен, классной даме,
о гуннах, гудках и вудах,

о щиплющих горло спиртовых компрессах,
о портрете учителя в простенькой раме,
о шарманщике, прессе, неизбежном прогрессе
и высокой, высокой маме.

И так, чтобы бабочка моя, голубая, ночная,
плакала о невозможности повторенья
недописанного домашнего задания
на столе чьим-то гением забытого сочиненья.

Я в детстве не умела рифмовать,
но пела звуков завивающая прядь,
и вся текстура звуками шуршала,
и жало возникало, звуков жало,
и жало пело - жимолость, жара.
И город становился, как пчела,
как улей образов, корабль из сотен сот.
Я в детстве знала окон хрупкий мед
и качку площадей, как якорей,
и тени рук - над неведом ветвей.
Асфальт - из воска. Из песка - пожар.
Я в детстве знала, что стихи - есть дар
от города - морям. Там мой летит балкон
от города - морям. Там мой летит балкон
и по сей день - над перевозанным сонмом волн.

Как парус эти небеса, -
бездомной силою летучи.
От памяти в слезах очнувшись,
чужие руки отведу.
Порвался саван голубого -
ты просто частный случай сна,
наваянный моим корням былого.
А волчье просится в леса.
А одиночество по-волчьи в чащах рыщет.
Нет памяти, но есть свободы зов.
И только ветер рваных строф,
как бич причин, как ветер свищет.

МАРИНЕ И ОСИПУ

1.

я тень от вашей тени.
я лунатик
двух светлых лун.
я складка в скатерти,
я белоснежный кратер.
я пепел пены голубых лагун.
я - темь за вашей тенью.
я старатель
песочных замков
времени и сна.
я - елочка в Елабуге...
я - память,
и мгла меня вспоила, и - вина.
вина живучести, что вас не пощадила.
в тени глобального небесного угла,
я - щель - в подкорке сна.
я - елочка в засаде.
я - сердце смеха, -
радость дровосека -
в слезах... и с топором...
я тень -
и я прореха -
на пепелище ваших снов -
любивши Жизнь -
дотла.

2.

Мандельштам Цветаевой в эмиграции
писем не писал.

Ты слово позабыл. Я забываю лица.
Сережки на ветвях. Бренчание росы.

Бревенчатость усадеб, и вопли синей птицы.
Любовь саму в бессмыслице весны.

Живая ласточка, я позабыла горе,
и снег, и Город - Петербурга фонари,
Россию, где поземкой синей полю -
как морю - отвечали январю;

твоей дюймовочке - на лодочке из писем...
- Цветаева в Париже... И жива?
Мне писем нет...я собираю листья
в Нью-Йоркском скверике, - наземная душа

болит-болит от перегноя немоты.
Тебя зову опять, но как ответишь ты?...

Ты слово позабыл...

3.

И вот, Марина, я узнала страх -
тот - в пустоте немислимого света.
Где синь - что тьма. Где всю себя раздав,
на горизонте не найдешь приметы

из будущего. Материнства зов, -
за что я прежде все же укоряла, -
не слышен, где из всех земных узлов
лишь на веревочный - хватило бы запала.

О многожильная - не выдержала - ты.
Той света немоты - где ни взлететь - ни пасть.
А я была слабей. Но все же три
сыновних голоса не отпустили мать.

4. Облако От Марины

Как смерть - на свадебный обед,
Я - жизнь, пришедшая на ужин.
Из последнего стихотворения Цветаевой,
посвященного Арсению Тарковскому.

Мне нравится, что вы больны не мной,
мне нравится, что я больна не вами,
что светлым тихим облаком давно
все, что болело, стало между нами.
А там - внизу: Елабуги сыр-бор ...
Жизнь вспоминает,
как в последний раз пришла на ужин,
и не нашла на скатерти прибор.
К Елабуге - уже он не был нужен.
Мне нравится безмолвность наших встреч.
А та, что третьей сами мы позвали,
нам жар давала - Жизни речь и смерч.
Но смерч стал ангелом, а ангел - облаками.

5. У Марины...

У Марины учусь провалам
между строф и рифме, что вспять.
Эх, вот если б заранее знала,
как не только в площадных овалах,
между скалами - умирать.

Было б проще - грозою в поле.
Слишком много дано было воли
мне, невежественному дитяти.
У Марины учусь рыдать я.
У Марины учусь прощать я -

всласть и вдоволь - вдаль и обратно,
слов щербатой иглой сметуя
время солнца, чтоб слякоти струи
не размыли тугого наряда
из божественно-строгой соли.

И покуда жива, дотоле
мне подолом мести, как рифмой;
да не островом, острым клифом
в океанах учиться стоять
у Цветаевой у Марины...

Долго волком учусь не выть,
а выкликивать все, что любила.
Ну а если тебя забыла,
если срок сургучом застыть...

то у страха в бахромке ночи,
разрезающим память построчно,
у печали - учусь печати.
Ах, у Анны учусь молчать я.

6. Памяти Мандельштама

Нота чиста
лишь в единственном случае
и повтореньем
выше и выше
сумеешь ли в песню сложить
синие искры
взлетающих пеплом
возможно
Моцарт со мраком знакомый
услышит любовью...

вере ж
во всхлипах земли
обезумевшим горем
выделив щелочь из кости
и членораздельно
вере возможно ль услышать себя
обезумев
Кто Ты? - промолвить
и выпрыгнув в грязь из окошка
в пять по вечере
запомнив часы
как часовни допросов и пыток
в чавканье почвы
поглубже, позвонче впериться
золотом глаз обожжённых на небе
хрустальнейшей дужкой...
в рясу безумья рядящей ресницы
зловонный и снежный
вечный Воронеж
и вечный Освенцим
в зрачке у беззлыхных

вере возможно ли стать
осияньем безумья
страхом отравы Сиятельным
в мерзком бездонном колодце
звездною выпорошкою на помойке
вселенским Младенцем
лебедем глотки в колодцах
снегами, снегами...

Верё возможно ль Безумия
стать Осиянней?

СЕТЬ

Василию Муратовскому

И строки - сеть
и ветки,
сроки - в сетчатке глаза
и шар земной
глобально-глобусный
и голубиный -
вращение не знает остановки
до ощущения прозрачности
за точкой
сквозь смерть
стрекошущей,
и скорость неба,
набранная
даже красным шрифтом,
суглинок, амфору, сосуд
и гроб
в сферическом кружении времен
не разобьет,
но и не остановит
творения частиц
в пространстве света,
где так спешат воронки
всех смертей,
могил
на скорость взрыва раскрутиться
и стать оврагами,
овражными полями,
травой, да так - что рушится
ветвями
весь лес отважный -
так Покровом он стремится

небесного пространства
одинокств
для смерти стать,
равняя небо
Ее с оврагами,
а не с врагами.
Падать
что в небо, что в овраг
умеет лес
не хуже черной кошки,
зацепившись
лишь коготком ветвей за хрупкий воздух.
Неостановимо это все.
Вот видишь, - строчки,
вобравшие в себя
вечерний ветер,
становятся гуашью в синем небе
и галочкой,
и веточкой,
и смертью,
и Геей,
и травой,
а ей еще родиться
из хаоса
лишь предстоит -
и сразу в мрамор, в холод
оправиться, в морщины ...
повториться
и отразиться - в водной тихой ряби
у тезоименитого пруда,
где, как и ты, в крошащейся Карраре
и в крошках на воде
я вижу все
параболою сетчатого глаза:

и трещины земли, и воплощенность
их в скорость грани
хрупкого дыхания,
от воздуха небес -
головокруженье...
земного шара
голову лебяжью,
что прячет он под влажностью крыла,
космического - клювом пронизая,
глухую скрытность тела, -
так в себе
любовь и смерть
отогревают вечность
Он так поет ...
 наискосок ...
 ... насквозь ...

ДАТЬ

Стих - единая возможность
душу в плоть перекачать.
Это страсти осторожность.
Это - чтобы не кричать
в пустоту своих стремлений:
эхом узел не разрубишь
одиночества, и время
из воронки не пригубишь

звука - впрочем, подражаньем
к миру внешнему зывая,
и по звукам море мера,
в стих, как в соль, кладу я данью
душу закланного зверя -

стон немыслимого знания -
стих, - когда себе не веря,
в зеркале я лью на пламя
воду, а затем немея,
пламя на воду - обратно.

Стих - утробная утрата
в пре-исподнем - воспоминания:
я любила вас и в теле...
Я любила вас. Когда-то.

ЦИНЦИНАТУС

Мне ничего не хочется писать.
Но говорят, работа помогает.
Присутствует в работе благодать -
сквозь пальцы шрифтом мелким протекает.

И падают букашки в пустоту
страницы. Назову ее работой.
По пальцам я считаю ерунду
и на чернила проливаю годы, -

как в слезы - дождь, как падает листва
под ноги равнодушным пешеходам.
И чем страница жадная жива, -
сегодня только эхо дальней ноты,

какое-то за облаком вдали
о пустоте благое откровенье.
Так Цинцинатуса* на казнь вели.
Вы назовете это вдохновеньем.

*Набоков. Приглашение на Казнь.

Укачай меня, укачай,
завари мне на кухне чай,
отмени пространств этих бред,
у меня уже сил просто нет
в невесомости бездн мировых
эту партию на двоих
на доске звездных шахмат играть, -
уложи меня лучше в кровать.

В этой жизни всегда я - ничья,
и с судьбой у меня ничья,
и с тобой не хватает тепла
выдуть из трубочки рта
и дышать в пустоту, дышать -
уложи меня просто в кровать.

И верну я небу свой дар
за душистого чая навар.
И задую я в храме свечу,
чтоб щекой прижаться к плечу.

Ну, а после, а после - знай:
как заваришь мне только чай,
я предам нас обоих углю,
потому что я так люблю:

чтобы грифелем начертать,
то, что два плюс два суть есть пять,
я опять небеса разобью,
и тебя в небесах разолью -
будем звезд антрацит лизать,
чтобы два плюс два стало пять.

Укачай меня, укачай...
Принеси мне из кухни чай.

НЕ КАСАЯСЬ

Сегодня я видела небо,
заключенное в дно зрачка,
заключенное в самом себе,
арестованное своей синевой,
изможденное - просто небо.
Без конверта и без печати,
без зеркала и сургуча,
без тучи или слезного солнца,
без шторной слезы
о прощении
встрече и расставании -
безразлично, беззвучно,
навсегда
оно проливалось,
как невидимый шифр
в распечатанный слой
вот теперь
все - доступно открытого
текста:

нас с тобой -
не касаясь.

И тогда я согласилась на плоскость.
Вернее - на параллель.
Пусть будет так.
Пусть.
Каждый сам за себя.
Каждый сам по себе.
Каждый... небо над головою
друг друга.

А. С. ПУШКИНУ

Чистейшей прелести мадонны,
Михайловское, лопухи,
декабрьская пурга, загоны,
сиятельные сапоги,
оливкового цвета кожа,
и дружб лихих кордебалет...
Товарищ, верь, что в царской ложе
сияет вечный эполет.
Товарищ, верь, в огнях историй -
нам зеркала извечно льстят.
И только о последнем стоне:
- Ах, Натали, ей будет больно...
так редко-редко говорят.

ТВОРЧЕСТВО

Дух, что дышит в трубочки вселенной,
выдувая звезды и шары,
расскажи, как вывести из плена
бестолковой плотности жары
образ девочки на рюмочке замерзшей.
На земле песка нам хватит, Стеклодув.
Образ девочки, однако, что-то горше,
тоньше, неприкаянней что, Дух?

Мои губы ты к стеклу не зря приставил,
хоть и так я замерзаю в жар, а в стужу
сказочку твою твержу о том, как ангел
в огненной вселенской таял луже.

Ангел мой, он может гордостью зовется,
Люцифером? - что ж, не обессудь!
Выдувай шары, пока вселенье льется.
Мне - для выжига - оставь песчинки суть.

БРОДСКОМУ

Читаю Бродского, как принимают бром
от страсти к раздирающему плачу,
читаю Бродского, коль не могу иначе
пройти в ночи сквозь мыслей бурелом,
найти тропинку, выйти тропом прямо к точке,
где я могла бы приподняться на носочки,
и раскрутившись по спиральям, синей осью
лететь по двум прямым твоим, Иосиф.
И, как и ты, угла себе искать
меж двух прямых, меж Богом, эхом Бога...
как трудно на лету словарь судьбы листать,
растянутый меж Словом и его
примет отсутствием во всех наземных каталогах,
в пространствах вихревых, в провалах
линий, между
их скоростей, - как в мясорубке мысли нежны, -
сквозь винтики пролезть, на крест кустом упасть,
и в очевидцы никого не призывать,
одновременно зря блуждающим огнем
какую-то беззвучную надежду,
как Шолома звезду, - шалом тебе, шалом,
постой, не прикрывай устало вежды,
сквозь эту ночь побудь еще со мной,
куда б не вынесли нас эти параллели,
пересекутся в предрассветной трели,
закрученной серебряным узлом -
неужто Соловья? - А может, Псом,

ВРЕМЯ

Время, летящее тканью
В каждое стихотворенье,
Как вода, как ступней омыванье,
Оправдывающее благословенье.

И уже не ступней, а ступеней
На рыхлой лестнице бликов.
О, изгибы всех повторений
На пролетах событий. Тихо

Водяные несутся тени:
Кавалеры и дамы в пролетках.
Только в рытвинах тех настенных
Перерезана чья-то глотка.

Только в скрипе старых мозолей
Двадцать первого крошки века
Различаешь в пыльном камзоле
Престарелого человека,

У которого первая тайна,
Как у каждого из младенцев -
Посмотри - леденец тает -
Это время в небесном скерцо.

Вот оно - как Лет Зеппелин - стонет,
Будто Лестница в небо не смеет
Не в любви признаваться, а в зное,
Нисходящем на фарисеев,

Восходящем, тянущем жилы
Всех времен на одно распятье.
И жильцы съезжают с квартиры,
И висит на балконе платье.

Ничего не смогло приурочить,
Захлестнуть в мокрые петли.
Воронков ворсистые строчки -
И на чью там головку сели?

БЛОКУ

Пару рифм нацепив на нитку,
вытащенную из сажи, -
в прихожей ночи, где свитки
валяются ненужной клажей,

в прихожей, где шоколадку
лижет мое бденье,
другие на жемчуг падки,
и на луны движенья.

Спать пора - не дурачить
по мокрой простынке асфальта.
Улиц ночных теченье,
альфы, омеги и сальто
морта-мортале-марта...
Блока уже не будет.
И никакого сорта
жемчуг его не разбудит.

Какого ж еще хрена
стихи писать - отбиваться
от фонарной гангрены,
текущей из Невской пасти?

.
А все-таки, сколько их, детских,
в аптечных окнах открыток...
Похоть детского сердца -
жемчуг приторно-липкий.

Все повторится: судьи,
стихи, улицы, веры.
Только Блока не будет.
Так зачем тебе перлы?

Так зачем тебе старость,
что с ядом аптечным играет
пестиком детским? - Перста он
больше знает о рае.

СТИШОК

Спаси меня еще разочек,
впитай прозрачный случай влаги
на промокательной бумаге, -
стишок из галочек и точек.

Слой слова, корочка-отвага,
в пространстве каплю сохрани -
хрипи, куда-нибудь мани -
хотя б на плаху - что мне плаха,

когда в ночи дожди грохочут, -
я ж, задыхаясь на мели,
у строчек вымолю глоточек -

и крыши рушат муравьи.

ПОШЛИ МНЕ, ГОСПОДЬ...

На смерть Вознесенского

Пошли мне, Господь, второго:
не для любви - для беды.

Пошли мне, Господь, второго:
дыханье зеркального ты,

чтоб снова ложилось на стекла,
а я стирала локтем,
как слезы. Пошли для горла,
пронзенного звездным гвоздем.

Пошли мне, Господь, второго -
перпендикуляр на кресте.

Пошли мне его немного -
во благо твоих вестей.

А пуще - щемящую жалость
холодным дождем за окном,
и каждой детали малость,
пока на земле мы живем.

Пошли мне, Господь, второго,
чтоб было кого здесь распять.

В конце всех концов - второго:
чтоб я отказалась внимать

и чреву и долгу и слогу,
а только ядру огня...
Пошли мне господь второго,
чтоб снова отнять у меня.

КУЗНЕЧИК МЕТАФОР

Тане Осинцевой

В кузнице твоих метафор
каждой льдинкою куют
чудеса - в поля размаха,
шага - в синь - и неуют
скажется вдруг переплётом -
перелётным и старинным,
драгоценным альманахом,
в зимней печке непалимым.
Не сожженным жаром-паром
холода в квартире общей.
На растопку в Петрограде
комиссарском он не брошен.
Ты, что голосок всенощной
в льдах замятинской пещеры.
С подселением к Живаго
площади в душе не смеришь.

С очень строгой, леденцовой,
детской верой, звонким даром,
ты - кузнечиком в мохнатой
шапке и чуть-чуть восточным,
очень щедрым - в голом поле

застывал на тонких ножках, -
ворожил снега в подстрочник...
в каждом вздохе - выдох дали,
читка вслух и ноток точка.

Ну а мне снега такие
забывают нынче рот...
Из кузнечной наковальни
в чистом поле, в дымном рае
воли песенка поёт.

СЛОВО

Иногда мне интересно снятся ли жирафам
птицы и корабли, и как долго
вспоминают о людях кошки.
Немота притягивает мое состраданье,
чтобы обрести в нем свой отчаянный голос.
Иногда мне хочется заткнуть уши,
чтобы никогда его больше не слышать.

И тут меня осеняет, что бывает и хуже.
Гораздо хуже.

Например, прекрасное подслеповатое слово,
срывающееся в овраг, поросший молчаньем.
Или - нет, даже не это. - Скорее, слово,
цепляющееся на самой краешке пропасти
за самого себя.
Безнадежно ломкий цветок
с полузабытым, никому не нужным
названием.

КОМПЬЮТЕР

Компьютер посылает мне сигналы,
в конце страницы каждой, -
как в грозу.

Пространство бездны ощущаю,
это странно -
там пустота внизу,
там пустота внизу.

Пока еще себя не нанизала,
не раскрутила осторожную блесну
грехов, побед и бед -
у этого экрана
причалов нет,
хотя и есть порталы,
и точно уж, привалов нет в лесу.

В конце страницы здесь висишь, как на аркане,
карандашей здесь мяту не сосешь,
нет волокнистости чернил,
в живом бумажном стане
не вертится наброска дикий еж.

Черновика всю ежевичность строгий свет
компьютера не стерпит, - и сонет
в сердцах не скомкаешь, и кофе набегу
не опрокинешь на любимую строку.
У кнопочек бездушных на груди,
стучи себе - кудель не разводи.
И, может быть, в компьютерном бесстрастии
познаешь ты секрет наимоднейшей снасти.
Да на отвесе каждой строчки - снова SOS.
Ах, чтобы бес тебя, компьютер мой, унес...

ТРОП

Антонимы юности -
синонимы в старости.
Все сложности глупости -
есть яблоки праздности.

И нет лишь единственной -
Строки - в кой мой быт,
как в солнце на выселках,
всей правдой промыт,

и проза события,
как быль естества, -
земного наития
простая листва.

О КРУЖЕВА БЕССМЫСЛЕННОЙ ОСАННЫ ВЫШИВКА

Ни строчки больше о любви! Ни строчки!
По красному и вдоль и поперек
прострочен этот лоскуток -
краснеют даже мочки
как мотыльки-ушастики... Отек
стыда на сердце: было - прямо в пальцы
выщеживалось - ныне же весна
совсем иные кружева на пяльцы
мне натянула. Как Осанна - Небеса!

Осанна, Милая! Воздушна - ты - бездушна...
Ты - кружево - без тела и без платья,
ты перьев вздор - царапаешь - как сласти
десну небес - и желтых почек пасти -
свистят свой сор. Им безнадежно скучно
свистеть в пустоты. Чем-то смачно тучным
белила пахнут. Пульс живет в запястьи
манжеты без руки. И соловей в желтке
воротничка старинность образа разрушив,
невинность вымарал, как кружева в песке.
И соловей бывает сердце звуком тушит.

Но так. Невинность - вздор. Когда черед луне.
Когда ее черед грести по суше,
сады с асфальтом спорят. Не нарушу
я этот спор сиренью. Но во сне
размажу тени по щекам - И пусть невнятен
как сад - как стыд - как почек сыпь - как кратер
сей образ. В летаргии спит на дне
лишь аллергия к фейерверкам в мулине -
далекий перехлест из звездных пятен.
Воронкою зрочка он в днище встужен.

О, кружева бессмысленной Осанны
с белужьими глазами на песках!
Я в небе задохнулась, как в стаканах.
Сахара неба орошается в висках
биеньем строчек, как ресниц сбиеньем в стаю
слезинок синих. Выбирай тогда Синай! -
и сладость манны ломкую вверстай
иглой в рисунок сей. Пусть снова в море встанет
по вертикали столбик. Он души

проекция и только - но дыши,
Рожек Улитки, -
Из прозрачной мокрой нитки.
Не помни прошлого. Там боль. А ты верши.

Дыши. Верши - не бойся, что иголке
наперсток будет обмануть безумно просто.
Не бойся, безымянный недоросток,
рожок улитки, влажный странный морок,
рефлекс свободы и души инстинкт -
на безымянном снова капелька горит
и алым жмурится... Вот-вот заговорит...

АРСЕНИЮ ТАРКОВСКОМУ

Себя отпаивала понемножку -
по капельке - стихом из пустоты -
горчайшею, микстурною окрошкой:
поэта были семицветные пласты
толсты текстурою корявой, но в проколах
иголки тоненькой - рисунок неземной,
как будто у судьбы из протоколов
изъят самой девчоночкой весной.

Там однодневки - мотылька едино чудо
горит в смоле и расплзается под спудом
коры земной в янтарные разводы,
и там же опирается рукой
на посох дня, на долгих странствий годы
седая вечность с Моисеевой Звездой.

И все что было - снова встанет после.
И постучат из будущего гости.
И посох тот в пустыне расцвет.
И сказочка пустынею бредет.

Но все это потом в сиротских крошках
по небу разлетается, летит...
Пои меня еще, пои - пусть будет горше, -
страшнее будет, будет легче, проще,
пока твоя строка мне годы серебрит
и в кронах мокрых кленов птицей свищет.
О, одели зерном горчичной простоты
у глубины миров на голубином днище.

Замечали друг друга.
Делились опытом.
Получали советы.
Ну а скрипочка - та
уже судорогу победивши,
напевала там где-то тонюсеньким голосом.
И было достаточно музыки.
Достаточно света.

Пела.
Хотя и не складно
и как-то не солоно
жили.
Пили воду. Рожали детей.
Ставили чайник на плитку.
Эмигрировали. То в себя, а то - стадно.
Но звонили друзьям,
иногда,
и по праздникам,
обязательно,
рассылали знакомым открытки.

А она? - всему-то она подпевала.
Хотя днем ничего не сходилось.
И познабливало вечерами.
И хотелось истины, истины.
Или хотя бы точного смысла.
Или, в крайнем случае, -
просто горячего чаю.

Кто же я? кто же?
Сидишь и в праздности
все задаешь себе глупый вопрос.
Да изнутри вдруг полезут разности.
Звуки иных голосов.
В том-то и странность,
что, вроде, не внешние,
вроде бы, сам говоришь,
только то те, позабытые, вешние,
то вдруг фальцетом свербишь,
то, как тромбоном, ударит в голову:
слева - вранье, справа - белье,
то там кому-то тоскливо и холодно, -
так он в свистульку свое.
Вот так сидишь у себя в перепонках -
перебираешь на звуки...
Кто же я, кто же? -
тем звукам вдогонку -
чей же возьмет на поруки?

ШОПЕН

Когда нет сил на боль, нет сил когда -
и боль - что лед из белых клавиш -
скользит под пальцами, - и ты не знаешь,
которая из нот в источник родника

преобразится - и зальет - и захлебнется
мелодия - иль будет только

отсчитывать слезинки: три на сколько
помножить надо, чтоб рассыпать цепь на кольца

черненных слез - и в стрекоте росы,
как скряга мелкою серебряной монетой,
в мелодии разбрызгать пятна света
и ниточки тянуть из кружева листвы,

пока он нежно шеи шелковый изгиб
вшивает гладию в щербатость лунной пены? ...
В виске ль, в запястье у мелодии Шопена
нащупай пульс - и задрожит над нею нимб.

А там услышишь стон - пока мир потный спит, -
он боли нерв - в привычке к боли - вскроет.
И плавят ноты лед. И ночь болит навзрыд.
И синий лед - не плавится! Горит!
И в дуршлаге теней вселенной пламя моет.

PIANO CONCERTO NO. 21 MOZART

Моя самая чистая нота -
лед и шмель.
Пусть кикиморье тянет в болото -
Спел.
Моя самая белая клавиша -
с розовым лепестком.
Моя самая долгая - плавает -
золотым светляком.
И коль счастье
всего-то той ноты -

голь,
я на вечное царство венчаю -
Тебя -
о, мой Голый Король.

СИРОТСТВО

Сиротство. Сиротство. Какое сиротство...
Любовь потирает виски.
А где-то болезнь, нищета и уродство.
А здесь деревенеют соски.
А здесь изобилье в себе онемело
и стало волшебной колдуна.
Пространство летело,
пространство-то пело,
а я оставалась одна.
И ты оставался. Но музыкой сферы
недолго нас ангел хранит.
Сиротством, сиротством, сиротством без меры
стреляющий месяц испит.
До лучика зыби! Моих откровений
впитать не смогла б и луна.
Неужто в проёме космической двери
любовь выживает? - Одна.?

Какой короткий путь перед сном
от Черного Моря до Летнего сада!
Окажется, что осенним песком -
листва распадается. Звук распада

в картинках звенящих - калейдоскоп.
Два стеклышка. Петербург и Ялта.
И кто на кого глядит в телескоп?
И смята подушки воздушная карта.

И тех городов голубой узелок
завяжет в едино и детство и юность.
Единства пространств завернет монолог
в тумане волшебных акустик.

И вот уже где-то в преддверии тьмы
камней перехлест завивается туже.
И вот уже город иной на дыбы
и Ялты волной, и дождем петербургским
возносится в схватке судьбы с Демиургом
и в небо восходит из желтой воды.

ДИРИЖАБЛЬ

Когда стареешь, то тебе уже
ни детство, ни мечты, ни память не подвластны.
Событий разноцветное драже,
рассыпавшись, - вдруг - обретает форму масла,

растаявшего на подносе из тоски
о всем несбывшемся; и горечь шоколада
по пальцам лет течет коричневой помадой -
вот тем и кормишь птицу воли из руки.

И в пальцах сжав виски, как птичьи силки,
настроив ночь на дрожь бескрылому плечу, -
грядущего и прошлого ничью
ты объявляешь, и не надобны стихи.

Ржавеет в ножнах синяя их сталь...
Но мимо окон мчится дирижабль,
и дирижер поднимет палочку вниз...
Одну картинку - эту - унесу
с земли - в свою заоблачную даль.

ОДИНОЧЕСТВО

Чтоб втекали в зрачки золотые круги
из ночной расхлябавшейся теми,
чтобы в сердце плескалась водица тоски
и лакали ее корабли и пески,
города, дюны, пустоши, мели,

просверлила свирель в желтой плешу звезде
сито. Капало пламя сквозь сито.
В фонари. В маяки. В зажигалки. В беде
чьи-то - спутники. Звездная свита

одинокость в сукне из асфальтных теней, -
будто скрипки в футлярных фраках...
Одинокость, дай прикурить той звезде,
что себя не узнала в помарках, -

оставляемых временем. В щелях дорог -
обязательно ль щериться зверем
одинокости? Будто сырой огонек
загорелись зрачки. - И, размерив

вдохновенья прыжок через площадь листа,
не спеши, дай допить мне из ложки
тот огонь, что накапала в сито звезда,
ту любовь, что налил на дорожку.

И что памяти мне в сундуках городов
накопилось за долгие годы.
Осторожней тyani из сукна кружева.
Не дави вены в сонные соты.

Кровь - не мед. Смерть - не сон.
И надежд города
над конфорочным раем, как морем,
не возводят. Скорее пусть эта звезда
на иголку забытых историй,

словно бабочка сядет. Пыльца же, пыльца
мелким шрифтом на лист пусть садится.
Пыли, пыли-то сколько в колючках, в венцах,
и в лучах накопилось! Синицей

за окном раскипелся рассвет. И мягка
пена кофе в конфорочном море...
Одиночество струйкой шипит, а строка
допекается в солнечном соре.

И как шарики крови по крышам стучат
утром звуки, где раньше ложилась
на двоих нам печаль серебра. Я туда
не вернусь. Ибо гуще зажилось

мне в гнезде одиночества. Радостней строк
утром шум. Ароматнее звуки.
А в окошко мне бьется последний листок
и стремится заламывать руки.

ГОЛОД

День на день не приходится.
Время право всегда.
Чашка с кофе, бессонница,
и живая вода -

по глоточку, по капельке,
с крана в кухне навзрыд,
День на день не приходится.
Тихо золото спит.

Где то в городе с окнами
золотая пурга.
У скрипичного голода
поступь в небе легка.

Так легка, так прекрасна,
как алмазная пыль.
Словно речь без согласных.
Словно плакать без сил.

Паганини ль в безумстве
небо пылью покрыл:
для тебя свою музыку -
словно атомом вскрыл,

расщепил плоть атласного
голубого цветка?
Эти игры опасные.
Эти жизни с мотка

шелка букв - и с компьютера
читка душ. Пережив

взрыв - молчание щупаю
в перерыв, в перерыв.

Ну а ты в невесомости,
ты - живая вода -
расплескав свое золото,
звезд гоняешь стада.

Страданье, вырвавшись из скрипки,
не сразу музыкой звучало,
дремучая кора кричала
о невозможности ошибки,
в весеннем, липком приговоре
ворочалось рожениц горе,
и ужас - в слезной сыпи почек,
и недосказанность всех точек
в жестокость смысла и смычка
все тыкалась, ища, мыча,
и вдруг взметнулась белой пеной
весна - и музыка поспела,
и оплывала с корки льда
неисчислимая беда,
и уплывала свечкой сонной,
и скрипкой плакала озонной.

БЕЛКА

Ель-изумруд, что в шелухе орехов
хранится, - словно в трудных складках шторы
хранится луч - она невидима на первых
порах, пока не загорится желтый шорох
завесы памяти и музыки прибудет;
и искра пробежит, и музыкой остудит;
и вызвонит из студня ломких нитей
воспоминание. Есть квадратуры истин
и искр в струне - есть квадратура звука.
В глухом орехе есть заснеженность испуга.
Молчанья завороженная странность.
Я ж - квадратура памяти. Я - жалость
к паденью, к трещинам,
к каким-то млечным слухам,
я различаю треск до трещины, и духом
я различаю щель
в любом волшебном пеньи.
Но то, что Елка есть живое средостенье
ореха, - помню я, пока бегу по кругу,
смотря, как клетка обретает форму лука
в стреле сознания, и как из чаши ели
пространство снега входит в дом свирелью.
Но вспомню - вдруг - что дудкой крысолова
та обернулась, как совсем другого
зеленого огня мы ждали, голой сутью
разбившись о грехи, как об орехи - грудью.
Но звук все жив - сквозь смерти и метели.
Что ж нам до маленькой, до прошлогодней ели?
Она лишь белки мысль - в круговороте буден
свирель хранящей - той - волшебной -
в изумруде.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ В ЯНВАРЕ

Спи, синеглазка, спи.
В этих снегах глубоко
воды лежат зари -
алое полотно.
Звезды лежат в ряд -
словно бойцы в снегу.
Если на левом боку, -
небо спустилось в ад.
Если на правом, то
снова ничья вина.
Спи, за моим окном
тоже стоит война.
Здесь - перламутры Ватто
мутно весталке вплетать
в древнее веретено,
и перемен ждать.
И лепетать вздор,
тенью зажав рот,
нежною стать, как смерть,
чтоб не спугнуть лед, -
полою быть - ждать ...

Тронется лед - рот
нам обожгут цветы.
Спи, голубой крот, -
Долго еще до весны...

EN ARANJUEZ CON TU AMOR

Аранхуэз,
я устала тебя возрождать из пепла и дали,
ночи свернулись в моих ладонях,
как лепестки бледной розы, -
они покрыты эмалью.
Я ношу эту брошь на груди слишком долго -
эту огромность розы в ночной амальгаме.
Одиночество. Роза стала слишком
тяжелой для платья.
Я снимаю его с себя - и оно засыпает на стуле.
Прижимаясь к стенке, в темноте
я перетираю щебенку памяти пустыми глазами.

Verra la morte e avra i tuoi occhi.
Придет смерть, и у нее
будут твои глаза. Ч. Павезе

Ибо пыль - это плоть
времени; плоть и кровь. И. Бродский

Если пыль - это плоть
времени, - что же дух?
В оледеневший вздох
вечности - вляпан пух
теплый, и лапки нот,
как у желтой осы, -
в виде янтарных сот,
в форму большой слезы.

Может быть, это март.
Может быть, осени цвет.
Искрой бежит вода
в рот, хоть и сжат в ответ.

Трещина льда - это рот
звука и первый испуг,
тонущего в полынье
музыки, словно жук

солнечный. В нашем вранье
музыки во сто крат
больше, чем в янтаре
вечности. Это март.

Льдов капельмейстер. Осы
смерть глупа, как капель.
Защищая себя,
время не пыль, а цель.

Время, как пыль - клише.
Время есть жало, есть рот
жалости клавиш к душе
тоненьких ножек нот.

Может быть, пыль и плоть,
Дух же - капель, оса -
глупая смерть. У нее
жертвы твоей глаза.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ БРОДСКОМУ

Все цифирь, да цифирь,
да отрава густого чифиря,
пролетят светлячки
над щекастой землистостью грубых свечей,
но в тюремного бога зрачки
ты бросался рывком,
словно в нулики, иже мозги цирковые
- обручей.

Словно в нимбы горящих вещей,
проливал ты чернила.
И твой стих - был манежный прорыв
сквозь манжеты иного эфира,
и рвались кружева красоты под напором
могучих плечей.

И всегда твоей лире, как льву, как в морщинах
пергаментных - бубна,
запредельно мерещилась самая главная буква,
рассекалась по прорези циркулем ясных очей,
и возилась какая-то рядом цветастая румба,
и чахоткой цвела на груди петербургских ночей.

Скрип канатов, трапещий, качель,
амальгамных мечей
превращался, сливался в бубнящий
извечный мотив,
совпадая по ритму с ломанием розовым льда,
то дрожащим смычком ты по горлу ограды водил,
то брэнчал по настилу сердец лишь
хрусталиком снежного ля,

и потом затихал-затихал на заливе Финляндском,
нулик воли - волной, как омонимом
бережно смыв, -
ну, так что же еще пожелаешь для
разницы в смыслах? -
цирк ли, воля, тюрьма, иль любовь,
или в тот же залив уплывающий вопль,
“Вуаля!”, мой герой, пустоты вольтерьянца -
пустоты, что всегда нам видна за разрыва дырой -
Ночь - явив.

А Она все сметает, сметает фонарной метлой:
огонь цифр размечая, в снежинках, в ладонях,
в чернилах...
В горле скорчится вздох от речного сырого зефира,
Спи-усни, юный лев, на свинцовой Неве отлитой.
Спи-усни под попоной - поношенной -
этого старого мира.

ДОЖДЬ

Цепляйся дождь за клавиши, цепляйся, -
держишься за пальцы, проливайся - лей...
Я дирижирую, а ты шепчи-прощайся,
и застывай в пространстве, и немей
от счастья, от сознания безнадеги,
от стенки валом в грудь, от не судьбы
простить себе, что не приемлют боги
ни плача моего, ни ворожбы -
ни личного, ни пресного, ни просто
поплакать на колени уронив
свою судьбу, как мокрый подбородок,

и в глухоте ее забыть мотив.
Забыть струну! Забыть! - пускай икотой,
как в детстве, завершится этот плач.
И вас забыть, ненастной погодой,
которому я одолжила плащ.
И не пытаться звезды на капоте
с того плаща на пальцы себе лить:
Я одолжила плащ, и вы пока живете.
И все о чем прошу - останьтесь жить!
Пусть не нальются струны мои светом,
Я откажусь от музыки дождя...
Живите только ... долго-как-то-где-то...
Живите! ... кстати, проще без меня...

ЛАКРИМОЗА

Да, ты меня нашел, как снег находит синий
за пазухой тепло, и окнами в апрель
ты распечатывал меня, как мокрую сирень,
губами стекол, горький бледный иней
сирени той - стекая по губам, -
ласкал, и нотами пушистыми моргал.

Да. Ты меня держал, как первый переплет
ребенок. Азбуку, так держат. Зыбким летом
читал с усердием - долет да перелет -
и каждый слог на свет, - но мало было света.
И что-то там зазорное в углах...
Неясен шрифт. И словно плачет страх -
ребенка? женщины? безумного поэта?

Но осень - в дом. И - чудо из чудес, -
ты понял стих, затих - меня ты понял:
как падая с безоблачных небес,
краснеют листья, что один в раю не воин,
прекрасней и прозрачней сирий лес,
и что земли и слова ищут в боли.

Что синее ясней в оранжевой кайме,
что встреча сплавится в тишайшем из огней...
Надежды? - Оловом? - Да. - В пуле.
И конвоем.
О, Боже ж мой. О боже, боже!!! Воли!!!

Конец.

Конец зимы - все на исходе.
И я одна в ночной рубашке поутру.
Одна. У толстого стекла в сухом дыму.
И словно дань обрященной свободе,
пол бродит под ногами - колобродит,
вот-вот меня в тяжелую волну...

Итак, есть пол. Есть я. Хоть жаль, что никому
сквозная, словно дым - ни пазухи, ни позы -
я не нужна, хотя и снова снег в бреду...
Он кроет, кроет все мои угрозы

судьбе, тебе... Трагически-хмельной,
восходит снег, так входят - в Лакримиозу,
так: нотной азбукой, зазубренной до мозга...
до мозга кости - клавишной белой кости,
так: кость от кости - лишь тобой - живой...

...и брошенной...в игру ... и смолотой:...крупницей
... летит....сам по себе ... и о тепле не тщится...
уже просить тот снег ... когда ...насквозь....
насквозь...
.... летит сквозь нас покой....
Пустой... Пургой... И врозь....

ПАРАДОКС ПОЛУПУСТОГО СТАКАНА

Что реальней: свет луны иль луна?
Жажда или вода?
Что смерти банальней?
Смешней волны?
В стакане - я умерла.

В стакане воды полупустом,
чтоб ты увидел сквозь
смерть мою, как идут моря
на тебя, - и как гложет кость

пес. И какая жажда жить
была у меня в груди.
И как огонь бежит по воде
и оставляет следы.

И чем еще я могу оглушить
тебя и твоих сирен?
Так сладко поет тебе пустота,
как Моцарта кто-то читает с листа,
что в теплой руке ль,
у подножья ль креста
уже не нащупать мне вен.

И все это вправду довольно смешно.
Смешно-невозможно-реально
В стакане полупустом...
В наполненной кровью ванне...

ДОМОЙ

Домой, домой - в набухшее ядро
Поэзии - во двор - в сарай - в ведро
Заледенелое под окнами лицо
Я втискиваю в сумерки - свинцом,
Под ложечкой посасывает время,
Раздрызганный звонок стучится в темя:
Пора, пора из слюдяных морей
В прогорклость жизни, в праведность вещей
И в календарь обыденных забот...
Я одиночество запикиваю в рот,
И мякотью давясь, давясь железом,
Себя я вновь благословляю темным лесом,
И серединой, и концом пути,
Одно прошу - горсть ноток загрести
От той звезды, что указали мне волхвы,
В совок осенней горестной листвы.

ПОПРОБУЙ СКРИПКОЙ МОРЕ ЗАГРЕСТИ

Попробуй воду загрести руками -
узнаешь меру всех объятий - на глоток.
Судьба, однако, это водосток.
Сплав ливней... Сеть заплечная с мечами...
Сечь смыслов... причитанья смыслов почв...

- Но что же станет с нами? С нами? С нами?
- Что станет с звездной почкой и смычком?
Лишь хлябь бемолю плещет под ногами.
Лишь мох-бемоль - фа - соль - ля- ми- ре-сон.

Простимся. Нет. Умрем. Поодиночке.
Тишь. Крыш окатыш. Катим в смурь да в сырь.
Расстанемся. И на пюпитре ночью
нам смерть разложит бархатный псалтырь,
и память патокой потянется из бочки
к губам... В подвалах сна - костей и тьмы
игра веселая. И в мгlistых крючьях-клочьях,
там - за окном - чуть выше - мрака зодчий -
над чашечкой листа - задумал две осы
вглубь заточить - смычком, в алмазный глобус,
в алмаз зрочка, как в перевозанный космос,
в Антарктику, в поющий льдиной полюс.
В Созвездье Ос.
Не спрашивай, о чем я...
Фа до ре ми ля спи.
Я ни при чем.

Попробуй скрипку починить мечом.
Попробуй скрипкой горе замести.

Ну что ж. По веточкам. В секундный мегаполис.
Качнуло время волнами листвы.
И скрипки серп, как золотистый колос,
разрезал ось двойной осы-звезды,
былинку взрезал, на бессмысленность и совесть
разъял вопрос, озябший до струны,
до жара-жала ос - вопрос о смысле... повесть
смычка звенит о ярости вины.

По молниям - до грозových коряг
мне плыть.
Войны попробуй этот стяг
ты клинописью нотною отмыть.
Попробуй море скрипкой залечить.

Ужо. Нажалившись, смычком - тебе: прости,
шепчу сама - и тут же ясной речью,
я становлюсь. Рыданье вырвав из судьбы...
Под шалью тишины - твои скрижали-плечи
укачивают плач - им долго нас нести...
...до звездных ос - до самой оси звезд ...
Попробуй космос скрипкой загрести.
Попробуй скрипкой мне ответить на вопрос.

ВЕРБЛЮД

Дожги меня!
Я рад такой судьбе.
И пусть!
И пусть я догорю на спуске,
рассыпавшись,
как метеорит тунгусский,
пылинки не оставив о себе
Семен Кирсанов

Не спалишь! - Не сумеет море
отгореть и рассыпаться поло.
Стынет медь - изначально - в воле
волн пустынных - в губах гобоя.

Медный листик - звенит без ответа.
Но гобоем сверяют оркестры.
Коды волн - по горбам - все про песню.
Ни в морях, ни в песках нет меты.

Медь тускла. В теме вод - постоянство.
Шерсть верблюжья - как волны - в горы.
Кормом - соль. Кто навьючен горем, -
в горб впечатано мудрости царство.

Море - градом в самом себе тонет.
Люди ж видят: верблюды надулся.
Так не-леп этот зверь. Та же мудрость
замурована в камне и в стене.

Путь верблюда - брести, клониться,
оттопыривши губы по-детски.
В плоть верблюжью рядится ветер.
Ничего он не знает про сфинкса.

Он - в расхляб. Он так глуп. Неизящен.
Как волны благодать - горбат он.
Он оазис морей в себе тащит.
И не сад - здесь, пустыня - братом.

И плывут по пустыням тени
волн гортанных - так песня длится...
и в верблюжьих горбах. (ПРО СФИНКСА:)

- Никогда не встречал птицу феникс.

ФЛЕЙТА СОЛВЕЙГ. ПЕР ГЮНТ

Намокла шелковая нитка.
Прилипла к небу. К небу - Ты.
К губе, и закусив улыбку,
пускает флейта пузыри.
Как радуга обратно мылом
стремится стать, как не крути
ее в дождях, я закусила
пустышку губ. Теперь лети!!!
Лети хоть соло к солнцу, Солвейг!..
А разобьёшься - дуй чуть-чуть
на ранку. Детский этот подвиг,
прошу тебя я, не забудь!
Как больно снова на колени
разбитой чашечкой на пол
вставать - молить... Но флейты пенье,
где каждый звук и остр и гол!,-
бумагой в тазике размокнет:
ни пузыря, и ни строки.
А после музыка оглохнет,
попав в закрытых губ тиски.
И может, в корочках засохнут
коленок раны... Время-Нож
все точит ноту в теле долгом
у флейты - Кровотчат полным,
соленным и распухшим горлом...
Не все следы смывает дождь!

FANTASIE IMPROMPTU

легкий штрих - как шорох утра
шорох утра - легкий шорох
на бумажке детской мятой
и измазанной в песке...
пробудившись на салфетке
в ресторане шоколадном
в чем-то детском и несмелом
в чем-то грустном кулачке,
подносящем ароматы
из коричневого кофе
к рту малинового моря -
и лимон лагунных всплесков
трепет моря золотит
я уехала сегодня
я уехала - прощайте,
я уехала - на море
на салфетке
с письменами
о песочных бандеролях
на салфетке-вертолете
в недописанной работе
в чьей-то странной и знакомой
и морщинистой руке

КОМПЬЮТЕРНАЯ КЛАВИША

Компьютерная клавиша, - как просто
нажать и переслать тебе в стихе
меня - тебе - всю без остатка, - право...
Но тут она не властна, ибо строчки
мои утонут в звуках фортепьяно,
звучащего в тебе и днем и ночью.
И вот тогда зеленую бутылку
из под вина я достаю в надежде,
что море тебе ближе, и, невежда,
ее ты выловив, услышишь в гулких волнах,
как все стихи мои рифмуются с стихией.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ЕВРЕЙСКОЙ СИВИЛЛЫ

“та царица пришла как премудрая сивилла увидеть
премудрого царя и как пророчица предвидела через
Соломона Христа”

“сивилла, придя посмотреть на выброшенное
Соломоном древо, села на него и была опалена огнём.”

Твоя клятва - на ладони -
Капля - и в волшебном звоне
Капли - отблески огня
Сердца моего - тебя
Так я слышала, ловила
На ладонь той клятвы силу,
Капля-клятва на ладони,
Прежде чем прольется в море,
Прежде чем летит дождем,
Много-светочным огнем
Отражаясь, многолика,

Растворяясь вдалеке,
Капля-клятва, я тебе
И не верила нисколько,
Выжимая красной долькой
Апельсинное сердечко
На ладонь экрана - вечной
Капелька казалась, млечной,
Но молочной на губе
Оказалась - спи - во сне
Будешь вечно вспоминать,
Как укачивала мать.
А как женщина любила,
То пророчица сивилла
Будет помнить: как печать
Соломонова горела
На устах, и как кричать
В смертной муке я хотела -
Эта странная сивилла
Будет долго изучать:
Как любила, что несла,
Чем из дудочки запело,
И как умирало тело,
И как душу, как Христа,
Все снимала со креста
В одиночку - спи, усни
Погашу я все огни,
Ливнем уроню ладонь
На твою земную боль.
Капля - боль твоя, все ж ад...
Потому и мне назад
Никакой дороги нет...
Спи - я выключаю свет.

ПИСЬМО В ПЕСОЧНЫХ ЧАСАХ

это все - это ночь - это
время ночи в песочных часах
перевёртыши лунного света
блики часики в сжатых висках

это все я уже на ладони
не надеюсь теплом пустоту
обхватит копь секунды гонит
как песчинки в холодном ветру

ты наверно по пляжу гуляешь
пишешь мне письмо на песке
ничего ты не понимаешь
только слышишь волну в виске

это музыка горизонта
я секунда огня в висок
будто Моцарта синяя нота
превратила в стекло песок

ну и что - по стеклянному тоже
не прочертишь разлуки черты
поцарапаешь только ножик
о часы - ты пожалуй иди

посмотри пустыми глазами
на свой дом в песочных часах
потеряться не трудно с нами
не впервой случается так

потеряться не трудно - не важно
выяснить - кто, куда и когда
как песчинки летят отважно
нету выхода из стекла

это все это просто время
как в висок стекло запекло
как песок в стекло - я не верю
в продолженье - часов стекло

поверни - ну а впрочем, впрочем
снова вниз головой упаду
да и в новой компьютерной ночи
не удержишь меня на лету

и ничто кроме дна на время
не составит мой вечный покой
где-то слышится море пенье
ожиданье за упокой...

ну а если опять не сможешь
повернуть часы - ну так что ж
стану жаждой и стану стужей
сажей стану коль точишь нож...

ну а может быть шире и глубже
чем смогла - чайки крыльями машут
не рисуют на стеклах души
я на дне - ты гуляешь по пляжу...

ФИЛО-ХРОНО-ТОПЧИКИ

(опыт литературного анализа)

СОСУД БОЖЕСТВЕННЫХ СОЗВУЧИЙ, КАСТРЮЛЬКА С КАШКОЙ ЗОЛОТОЙ.

Сосуд 1. *Вариации: Пушкин, Фет, Шопен*

И пунша пламень голубой,
и пушкинская дружба, -
как небо шумно-бархатно над садом.
Фейерверки звездных замков
отраженьем
и кавалькады пламенного солнца
оно роняет
в фетовский, открытый
рояль, и изыск пальцев гибнет в блеске
бемольном и черненном
лун запрудных
в скольжение белых лилий
белых клавиш...
Нетрудно зреть
всемирность этой ночи,
как милость мимолетного дыхания,
когда ручьев рулады,
словно факел
при взятии бастилий одиночеств
в руках у трубадура,
осветят
и вызвонят
лишь перелив, как тайну грани
в лице возлюбленной,
шопеновским ноктюрном,
чистой прелести -
- чистойшим образцом.

Он утренней звездой
взойдет над дымкой,
в которой девятнадцатый прекрасный
еще хранит под серебристой сенью,
как ключ любви - все магии созвучий,
и медленно, еще почти не слышно,
им отзываясь, заскрипят засовы
в испарине грядущих подземелий...

Сосуд 2. *Постановка контекста.*

Начну, пожалуй, с ... того, как обнаружила себя стоящей на одной ноге в позе Серпантино и механически уплетающей неизвестно откуда возникшей ложкой кашу прямо из кастрюльки, между тем, - всем внутренним существом вперившейся в темные ручьи и рулады вчерашних шопеновских экспромтов...

Картинка, конечно, является последствием происходивших здесь в одновременности завтрака, зарядки, и сессии литературного само-анализа. Импульсом же к происходящей, но вполне ординарной для меня утренней композиции, послужил, скорее всего, преследовавший меня еще с вчера вопрос, чем-то напоминающей ответ моего четырехлетнего сына (когда ему было...) На "у тебя совесть есть?" - он, тогда, испуганно отвечал - "я не брал." Я-то вчера, конечно, брала, бессовестно, из всех великих - прямым текстом и без кавычек, но вот почему это и это, а, тем более, каким образом я все это увязывала, да еще и новые завязи, цветочки-веточки выпускала... летела метаморфозой на слух, по слуху, внутри звука - все нанизывалось, распускалось, сплеталось само. А

как само? Пытаюсь понять, не отрывая внутреннего уха от рулад. Музыка слышна, как и слышала, вроде - почти физически шопеновская... правда ни одному его произведению не принадлежащая, но, клянусь, его. Я, кстати, музыку в ее чистом виде ни писать, ни воспроизводить не умею. Правда, что-то такое архитектурное я себе приказывала... здесь поворот, здесь угол, здесь окно. А это у нас будет крышей. А дальше-выше - не смей, все развалишь. Т.е. пространство кроилось все-таки более не менее осмысленно, или, скорее - на волевом, оберега тельном импульсе сохранить в живых, а вот непрерывность материи стиха - образами - рождалась непосредственно в течении звуко-слов, звуко-притяжением, как бы сама она по себе...

Итак, получается, что мое сознательное участие в созидании принадлежало пространству. А за музыку-материю стиха отвечало время, - время жизни, накопленное звуком слов, его музыка, его внутренние притяжения и отталкивания. Был, правда, еще и третий - он открывал дверь пространству для музыки времени и звали его, кажется, личным опытом переживания темы, т.е. личной памятью, накопившейся вокруг ядра слова 'шопен'. Но это, так сказать, была его кармическая роль-отработка. Функция же у него была именно такая, - вахтера: открыть дверь в притягивающихся к ядру слова 'шопен' исторических словах, т.е. потоку музыкального времени в них накопленному, и отправить мое записывающее ухо по невидимому руслу, грани которого надо было брать на ощупь и так создавать из невидимого русла - сосуд знания видимого. Хотя надо отдать ему должное,

он - личный опыт-вахтер - стоял именно у этих дверей заинтересовано и был весьма вдохновлен работой открывания дверей... потому как опыт его был любовь... но об этом думать было запрещено, только открывать...

Сосуд 3. *Живая кукла*

Создаются ли сосуды или пространства нами или музыкой времени, заключенной в слове? Нами - временем. Если научимся чуткими руками скульптора на ощупь ощущать границы и пределы заключенной в нем живой текучести музыки слова. То есть именно, где кончаются живые энергии слова, - и совмещать формо-границы с пределом способности слово-ряда наливаясь живой музыкальной энергией. Получается-таки, что со-зидание живого пространства - есть чуткость к музыке времени, ее живой наполненности. То пространство - не тюрьма, которое дает свободу музыкальным энергиям, заключенным в слове, воспроизводится, видоизменяясь. То слово живо, - которое рождает новое из себя, и сохраняет себя в новом. Вновь рожденное слово, аннулирующее музыку своего родителя, есть слово-убийца и нежизнеспособно. Значит здесь - стоп и грань, и поворот к слову все еще тайно сохранившему в себе живой звук.

И ведь что получается - только то пространство живо, которое знает предел музыкального самовозрождения слова и не оставляет пустот для мертвечины, притягивающейся к пустоте по образу ее и подобию, что есть глухота. Все же живо духом и радостью бескорыстного движения... то есть отдачей своих духовных ушей и рук... анонимно...

творческим энергиям слова, их движению, которые есть музыка и вечность живая... так как абсолютная статика - мертва, а значит - является не вечностью, а, скорее, небытием. Чуткость слуха к границам живого музыкального наполнения - внутренний механизм создания верного пространства в любом творчестве. Чуткость рук ваятеля к границам музыкальных энергий - есть духовное зрение. То есть, ухо - становящееся движением рук творца. Духовного зрения нет вне созидания, то есть прочерчивания любовного танца по граням живой наполненности чего-либо музыкой времени.

'Любовного танца', - повторяет вахтер и раздвигает задник, в коей миг становится очевидным, что завтрак, зарядка, лит-анализ скорее всего что-то тут станцевали: с кастрюлькой каши золотой ... Впрочем - вру. Я всю дорогу знала, что именно это и происходит, ничуть не беспокоясь о том, что же подельывает живая кукла моего материального бытия ... Она тоже танцевала.

P.S.

Нет более тонкой и всеобъемлющей связи между жизнью духовной и материальной, чем гениальное поэтическое Слово. Ибо оно в самой тонкой форме заключает в себе все виды искусства и познания - в бесконечности отражений - переливая и множа мысль, образ, пластику, танец, жест, музыку, и судьбу. Более того - оно заключает в себя основную функцию человеческого духа - приглашение восприятия к со-творению миров. Но не всегда душа способна и желает пройти сквозь

всеобъемлимость оболочки поэтического слова и стремится к связи миров через очищение музыкой, ибо сия связь - непосредственна и первична.

**LUDWIG VAN BEETHOVEN - PIANO
SONATA NO.14
JOHN MARTIN - ANGELS IN HELL**

Ты - фарфоровая кукла или ангел -
Неважно: звук один
Разрежет неживую боль на части.
Фарфоровая нота от осколка
Останется, как кукла разобьется.
И соберут осколки на совок.
И выбросят... А нота, нота та
У ангела под крылышком навечно...
Навечно крыльям ангела в осколках,
Оставшихся от той разбитой куклы
Дрожать. - На небе эту дрожь
Ты можешь музыкой назвать, -
Точней, Сонатой Лунной.
Но лучше - сердцем куклы, что впервые
Себя слышало лишь в ноте от осколка.

СУФЛЕР

В каждой человеческой судьбе всегда разывается одна и та же пьеса. По мере усложнения связей с другими игроками, развивается сознание пространства, позволяющие варьировать мизансцены, и актерский класс в человеческой судьбе сменяется на класс режиссуры. В какой-то момент расширение возможных интерпретаций игры, выносит режиссера на уровень автора, но тут начинается понимание, что любой оригинальный текст - лишь вариация мифа, и все творчество - лишь выбор из весьма ограниченного мифического ампула - того, где пройдя актерскую школу судьбы, уже осознанно завершается тема твоей. Найти свою тему, это вернуться с пониманием к оригинальному плану. Поэтому, когда я накоплю достаточно опыта и уйду на пенсию, я обязательно устроюсь работать в театре суфлером.

МЕЛЬПОМЕНА

Все сошлось,
уплотнилось,
сцепилось,
зажглось -
полетело.

Говорило:
Любовь я,
Огонь я -

не бойся,
 не бойся,
 гори!

Все распалось,
разрушилось все,
кроме боли,
 что все еще билась
слабым пульсом,
 как корень
под гнойною корочкой жизни -
 теплилось,
 возилось
фитильком запыленным,
бутылочным стареньким джином.
Все бродило
 ворчалло,
 кровило:

Любовь - я,
 Огонь - я,
 я - Сила,
хоть и в банке,
хоть в спирта жестянке -
со мной не балуй, не шути.

Все сползло потихоньку.
Все встало на место.
Ничего не сбылось.
Затянулись все раны.
Свернулась и кровь.
Не родилось дитя.
Но зато растворили все рамы,
на рамах зажгли канделябры,
и в яме собрались оркестры, -

затрубили железом,
забряцали лавры, литавры,
да по сторожа
строгому жесту,
по мании вечного жезла
все в партере
погасли, погасли, погасли
живые огни.

Только - там -
 в вышине -
в тусклой лампочке синего цвета
все дрожал проводок,
все шипел,
 все молил,
 все дразнил:
я - Любовь,
 я - Любовь,
милосердная я
Мельпомена.
Так что как-нибудь,
там уж -
за серой портьерой
живи.

ЭВРИДИКА

Я старею быстрее, чем фраза,
что в душе все кроит на века.
Я люблю Вас - этого сказа
всю длину знает только река.
Год за годом копи - да в Лету.
Так ведь нет - не умеет стареть
эта фраза - заложница, мета.
Эвридика, так что тебе спеть?

СЦЕНА

Нет ничего многосложней
плоскости сцены. Мир
гримом пропитанной кожи -
кровью пропитанный грим.

Не расчлнить, не разрезать
то, что, по сути, волна.
Сердце ущербно, как месяц.
Клоунский нос, как луна.

Души, как ярмарка нимбов.
Кровотечение дорог.
Течка опасна и гримом.
Паче, коль небом, и Бог

облака тюбик белилом
давящий в пачки, в жабо,
в образ пресветлого лика -
вляпает маску Пьеро.

Так вот он вас развлекает,
ножницы режут след...
(Я вам теперь сыграю
Перышко из надежд...)

Вырвала с мясом, рассталась
с кровным, и рифмой кружить.
Сцены цена есть данность
Лебеда в Еве. В Лилит -

Ангела. Будешь ли сцене
верно служить и петь?
(что ж это я в самом деле?
Ева-Пьеро... и ... Смерть...?)

Душа - это то, что осталось
от ушедшей любви тосковать
о невозможности чуда,
и о возможности ада,
это то, что по саду
бредет, спотыкаясь опять,
это хруст винограда
в щербатом сосуде -
дуга перепада
от прозрачной формы,
наполненной солнечным светом,
до ангинного горла,
до горечи вкуса букета
астр лохматых;
на склизкой тропинке -
опухшие прелые листья,
на термометре осень...

это мысли, всего только мысли,
что в холодных руках у росинки
себя омывают,
а душа... это ргутью - по ветру - рисунок,
все то, что всегда забывают
на подмостках прошедших парадов
герои... и, право, не стоит
о душе говорить -
и опасно, и рвется, и дорого-дорого стоит.

ТАБУРЕТКА

посвящается Марине Цветаевой и т.д.

в детстве
меня водружали
на кухонную табуретку
чтобы я читала стихи
для умиляющихся
друзей семьи

теперь
я карабкаюсь
на табуретку
сама

и пишу стихи
для милых прохожих
заскочивших
пересидеть дождь
в партере или на галерке
моего домашнего
драматического театра

когда-нибудь я
вытолкну
из под ног
табуретку
и задохнусь
в петле
синих губ
на умиление богу

т.к. синие губы
красивы как
сотворение
звезд

а впрочем,
так как жизненный путь
всегда увенчан двойной
петлей
то в полном сознании
всех последствий
в нее в бесконечном итоге
попадает
любой из тех,
кто когда-либо
был водружен
на табуретку

на кухне
в театре
на небе
вечного детства

то, чего не знали
мама и папа.

В ДОЛГ

Старый выцветший шелк
и желтизну меха
я занимаю в долг
у позапрошлого века.

Всю золотую пыль
на канделябрах хрустальных.
Всех - кто когда-то - жил
в образах тех печальных.

Все панорамы чувств
Пруста и Томаса Манна.
Пусть приснится мне - Пусть! -
снова та панорама.

Где безумию пред -
шествовало откровенье
за откровением. Плед
падал на дрожь коленей.

В креслах сидел хиромант
И мантилью - подавали.
Горек был шоколад.
И грандиозны дали.

Где целовала Жизнь
в губы - и грех и невинность.
Звездная грелась высь
в бездне с названием - мыслить.

Текст - был романом, сюжет
был гениально-банален.
Кажется, лист - креп-жоржет.
Глядь: да тома - пергамент.

МАГДАЛИНА

Кинь в меня камнем или черти по песку.
Мне все одно: задрожу от удара, иль съежусь
листочком осени в разгоряченном лесу,
множащим бредом шуршания душу на кожу.
Мудрость живет ожиданием милости слез.
Осень елей подольет в оловянные лужи.
Брось в меня камнем. И я заскулю словно пес.
Но не кидай меня грошиком, словно я взнос,
в кружку раскаянья тех, кто мне чужд и не нужен.

АЛЫЕ ПАРУСА

Ассоль - как соль морская. Соль -
что от земли - иное дело.
И то - что крыльями горело
на парусах, - как тень от зорь,
как тень, что в сновиденье жарком -
потом замарано в помарках
черновиков. Потом кухаркой
и над стихом и над плитой
становится Ассоль - и соль
все сыплет в суп - все сыплет мимо,
пересолив и суп и чтиво...
Ах, лучше алое внутри,
как в фарш из мясорубки жми.

Крути в сарказм! Сияй плита!
Я ей шепчу: Пускай звезда
на потолке - от газа тень,
что дребедень - что светотень -
одно и тож... Но всем - по вере.
Пусть парус - сон. По крайней мере,
мне не приснился крест - от рамы.
Он там же был. Долбила гаммы,
как в первом классе ученик,
мне музыка. И хоть на миг,
чтоб мне забыться - встать - умыться
и птицей в зеркале не биться,
саму себя я приглашала
на танец - в середине бала,
какого-то - морской волны.
И хоть ничьей в том нет вины -
конечно - нет, но мне позволь -
в который раз, моя Ассоль? -
в последний раз - как иностранец -
на этот чудный, странный танец
на палубу - в театр теней -
от волн - тебя - так веселей...
в подсветке газовой конфорки...
На кухне - соль звенит на корке...
скрипичной ноткой. - О, Ассоль,
морская соль - земная соль
в стихи замесится, сольется.
И только принц твой не проснется.

БАЛЕТНЫЕ АРАБЕСКИ

Светлане Захаровой

1.

Ты - в тишине самой себя - смятение оттенков
судьбы неведомой, летящей в воплощенье,
соединяемой лишь линией плеча
и рук дарующих и отбирающей мгновенье
у тех пространств, где всё одновременно,
где сердце в кисти рук чуть тронет всполох ветра -
зыбь пальцев ветром - соскользнет -

- О, ты ничья!

Но всем семи стихиям ты желанна...

Изгиб ступни твоей -
что корень пряных трав,
что пядь сухой, святой -
Обетованной,
Он продолжается в земле,
Он держит мир, как арфу,
и небо - шалью на груди распяв,
качает торс ее в эоловой волне.

Но в теле помнится стихиям о войне.

Итак, тобой - и сцена - тоже суд.
Тягуч напев у тела новой жрицы!
В струеньи рук, безмолвно небо длится,
как храмы ткет из стай, из серебра, а птицы -

в неясных жестах, в хрупкости зарницы,
как колыбель лучей раскачивают арки,
и жертву превращают в танец Парки.
Так девы небеса в мужья берут.

2.

Но в бормотаньях тела Парок
все ж невнятно
стихии смыслы -
совершаются на ощупь.
Поля и судьбы в небе
так полощут,
и с полнолунием - сверяют жизни даты,
и тишину прощупывают в слух,
весь в всхлипах тела.
Истончено многократно
раздача удивленья тонких рук,
почувявших крыло, как истину.
Как правду -
струящих неуверенность, испуг.
Так полнотой становится движенье,
лучистым тленом - головокруженье.
И вот уж райский сад горит вокруг.

В нем нежность розы, серый дым фиалки,
протуберанцем - и стрела и лук -
летят по небу. Я смотрю в лицо весталки,
смотрю в фиалку -
вижу: танец - лук.

В нем вертикальность - розовой стрелой...
Но новый поворот и чудо - коль
клонится -
и пошла, пошла по кругу
и стала много-водною рекой.

Река ж взошла и полетела в теле птицы,
развоплотилась в луг, цветущий под горой,
зарю стала -
диким лебедем искрится
в зрачке у синеокого зверинца
ночного неба.
Так Изиде часто снится
девичья нежность,
и подземный вой -
изяществу.
Смятение березки -
звезде туманной
снился в млечном воске.
В кристалле много темных, ярких бликов.
Звезда - как зверь волшебный многолика.

В ней памяти цветка живая сочность.
И полнота волны. И вечность. И порочность.
И святость - в силе - сутью естества
невинной девушки на вышколенной сцене.
В томленьи ль тела - о Душе - твоё свеченье?
Иль просто бредит Вечностью Весна?

ЛЕБЕДЬ

Лишь на краешке небес тебя увидеть.
Вот и все, на что сгодилось заклинанье.
Лебедь. Оборотень. Дивный витязь.
Порожденье теплого дыханья.

Мечется дитя-воображенье.
Куст, колючки, лопухи да пыль.
Гувернер - Закон Земного Притяженья
Поднимает к небу свой костыль.

Вот и все - на что воображение сгодилось.
Как ему, лохматому, поверить?
Спит ребенок - и ребенку снится
Облако, костыль, колючки, лебедь.

ALPHA- OMEGA...

Запонки судьбы в манжетах снега.
Ангел тени метит розовость ладони.
Где-то бродят Альфа и Омега.
И вот-вот меня они догонят.
И тоскуя о тебе. О том, что было.
И о том, что только еще будет,
Я случайно дверь снегам открыла.
Не суди. За смерть зимой не судят.

ШВЕЯ. БАБУШКЕ.

Бессмертия глухая мощь,
Терновники, труды.
Как будто бы из темных рощ
ко мне выходишь ты.

И даришь мне свой амулет.
Из омота - иглу.
И плещется в ней странный свет.
И рассекает мглу.

И вижу вновь покрой небес.
Под Зингером стучит
твоя игла и темный лес
на плечиках висит.

И для меня ты все кроишь
последний шик-фасон
в оборочках воздушных ниш...
Но тут уходит сон.

И больше мне не разглядеть
в рассветной темноте,
где гаснет речь
и стынет весть -
беззвучно - о тебе.

О первых строчек - суть и боль.
Потерянная нить.
Но только в них твой дух есть плоть.
Ты в них осталась жить.

Неуловимый переход
молчанья в легкий звук.
Из вечности лесных немот
струится теплый пух.

И в нем хранится жизни смысл.
Извечного тепла.
На кальку вечности легло.
И ты не умерла.

ВЫСОЦКОМУ

Владимир - кратер, хрип земельных недр.
О небе - хрип. Разбитые сердца
хрипят и плаваются, он был аорты нерв, -
и голос груб, ехиден, добр и щедр, -
щедрее забулдыжного лица
веков, протекших в казнях, он с венца
юродивых рубины пил в струне,
и рвались струны, бедных Йориков воздев
до самых звезд, - так воскресали черепа
и совесть Йориков из подворотен,
был он вор
в квартирах снобов, интеллекта, мишуры,
и память нор земли сосочил он в горний стон:
всю душу, сердце волка - на бинты
нам разорвав,
и уничтожил липкий страх
бессмыслицы пред честью, что землей
зовется, и вершит-вершит свой бой
с любой из червоточин у души.

Горе мое, долговязое, длинноволосое.
И какой же бес тебя занес
в мое царство розовое?

Удивленным глазом косит твой конь
на мои снега.
Ну, а я бы спала и спала в веках.
И не знала греха.

А теперь погляди, что наделал он -
разворошен снег.
Целовать бы стала тебя при всех.
Да пуглив больно конь твой - да дик.

Да уж слишком крепки удила у коня.
Да дрожит под копытом его земля.
Да не будет коню твоему пути.
Ясноокое горе мое - прости!

В МУЗЕЕ

Приходи на меня посмотреть.
Приходи. Я живая. Мне больно.
Анна Ахматова

Приходи на меня посмотреть.
Не на боль, а на то, что осталось.
Приходи - это чистая радость
в колпачке застекленном гореть.

Время здесь не имеет значение,
холод рук светляку не понять...
Я на полочке "на воскресенье"
здесь, в музее, тебя буду ждать.

Я от дебрей дорог отвыкла.
Я забыла огромность глаз.
Помнишь вазу печали, что плазмой
в хрусталях опрокинулась в нас?

Здесь все проще. Здесь детские души,
те, что выжили в плазме судьбы,
тихо плещутся, - слышишь? “Послушай”!
Помнишь, в сердце так звал меня ты?

Это имя мое - все то же.
И пока не вернешься назад,
безымянную детскую душу
здесь, на полочке, сохраняют.

КАНАТОХОДЕЦ

Радуга в ночь. Карнавал.
Никто не заметил изъян,
как раздробило грань
света, когда упал
в тень фонаря циркач.
Канатоходец спит.
Скрипка - чуткий палач -
в стрекот звезды зазнобит
тьму неземной красоты,
ночь распалив дотла.
С вешней звезды до беды
каplet - как с листика - мгла.
Лопнувших струн Луна
плавает в стороне.
Не теряя баланс,

в красном ее вине
канатоходец спит.
Зияет двойная ночь.
В первой его уже нет.
Мне нечем ему помочь.

ИЗ ПРОСТОЙ ДАТЫ

Красота факта
Из любого текста.
Из третьего акта.
Из единства места.
Из простой даты.
Из всеобщей смерти
Вот идут солдаты
И от них вести
Из другой жизни
По прощенью судеб
К нам доходит эхом -
Жили-были люди.

И всегда-то факты
Как-то театральны.
Неизвестный, как ты
Обжился там в рае?

Кто тебе сухарик подносит?
Кто - горбушку?
Кто похлебку варит?
Заряжает пушку?
Впишут что в учебник
В двадцать первом веке?

В хляби, пепле, плевах,
Жизни на отсеке?

Кто здесь упасется
От ядерного такта?
Шарик наш несется.
Тик-так факта.

А может графоманы
Вящие пророки?
Ангел что ли краны
Перекроет в горле
Новой катастрофы?
Годы - что блудницы.
Нет у дат свободы.
Будет все - что снится.

Ужас, печи, трубы,
Горних смех и пенье.
Поцелуй же в губы
Красоту забвенья.

ХРАМ В МЦХЕТЕ

Боги создаются на Востоке.
На скале, в сыпучести песков.
Яростные и глухие боги.
Храм из камня -
медный грязный мох.
Неба рупор в желто-розовых разводах -
купол - груб и тепл - тоски величием.
Серость, одиночество и грохот
подземелья в тонких взвизгах биатричьих.

Купол камня - ветер камня, гром хранящий,
клич и бога глухоту, и кремнь.
Глухоту огромности, что зрячей
вечно пребывает в этом небе.

Небо плавится на кремне - золотое
пламя в лики здесь шипящим льет,
а в нишах
камни Грузии скрипят песком Синая...
Звук изысканных гармоний здесь излишен.

Через тыщу лет во много Лете
вдруг из мрамора взойдет иное пламя -
голубое, в кружевах - и звон кометы
Моцарт там услышит в бальном зале.
В кружевах и пряжках недотроги.
На рояле он сыграет что-то...
Варварства вкусивши и берлоги,
для себя родит себя Европа.

Небо станут с бальностью паркета
сравнивать изысканно герои,
опус Ницше здесь достанут из буфета,
и на Ельбе муза встретится с ковбоем,
а к полнощной в тысячи вибраций
опера споет нам о душе...
и взойдет союз великих наций
и пойдет по миру в неглиже...

Храм стоит. Молчит. И неба ноги
в латах кремня греет - молний звоном.
Боги создаются на востоке.
Яростные и глухие к людям боги.

ГОРЛО... DELETE

Кровь не пойдет горлом.
“Вешние воды” - лужи.
Чехов давно умер.
Ты мне совсем не нужен.

Недостаточность сердца -
это диагноз - не горе.
Есть и другие средства
не утонуть в боли.

Есть, например, таблетки
от чахоточной дрожи.
Для неврастеников также
есть минеральные соли.

Есть из пипетки дождик.
Пиявки для равновесья.
Вот приложишь их к коже -
Тянут из крови песню.

Кровь не пойдет горлом.
Кто от любви умирает,
Если на небе порно
В блесках рекламы сверкает?

Если Delete кнопка
Все, что от песни осталось?
Кровь не пойдет горлом.
Может быть, я обозналась.

Как обозначился Создатель,
Брак на конвейере за душу
Принимая - да светит
Вам она, мой ненужный!

Ты все-таки есть - по-чеширски - от уха до уха.
Хотя и не видно ушей, но какое присутствие духа!
В улыбке раскрытой на милость дождей и ветров.
Какие коты во-плоти там! Ах, право - не надо котов,
Когда из страны узнаваний зеркальным обмылком
Навстречу Алисе летит завиток
из блаженной улыбки.

ТАНЕЦ

Если ты забудешь о нем,
что останется -
искра в ушах? -
загорится, погаснет.
Станет трудно дышать -
это перед дождем -
этим полнится будущий танец, -
это то, что не стало огнем.

Если ты забудешь о ней,
что останется,
крошки от мысли? -

боль звериная, -
боль за зверей...?
Низкий
потолок горизонта
и пол земли,
как дощатая узкая сцена...? -

Это танец их будущий -
мы вдвоем
на него глядим из партера.

РАКОВИНЫ

Раковины гудят. Втягивают в засос.
Может я и вернусь. Но морем,
морем всем докажи мне - не нужен вопрос
и ответ был излишен в споре.

Докажи, что возможна любовь без слов.
Только музыкой в ухе, - где клекот
волн мне пел голубою гортанью любовь,
нынче берег ракушкой расколот.

Докажи, что не смеет ракушка шипеть,
страхом волны морей отгоняя.
Ни к чему жемчуга мне твои, когда смерть
моего песочного рая

им цена была. Кровью далеких морей
за меня расплатился ты - Бездной!
Я ж платила ведерком, песочком в ведре,
моим детством, медузою, в тесто

тех песков запеченной - живьем, живьем -
моим детским сердцем из радуг!
Вот давай по песочку тому пойдём
и найдем среди бревен и балок,

среди гнили змеиных сырых хвостов,
среди водорослей и водички -
мелкой самой - любви моей старой улов
и синицы сухие спички.

Той синицы, что нам поджигала моря.
Мне не нужно новых жемчужин!
Если хочешь, из прошлого января
возврати мне морскую стужу.

Я в извечных твоих январях песком
согревала тебя. Любила,
как песок простуду. Теплом. Огнем.
Да со лба память звонкую смыло.

Забутье! Забутье! Забутья улов, -
мне сухи жемчуга, на твоём берегу.
Как в спираль зрачка жемчуг-стон без слез.
Твоего волшебства - я дитя - в аду.

ДИПТИХ ЗЕРКАЛА (ЛОТОВА ЖЕНА)

1.

Этим днем и сырым и безглазым так просто
все грехи отпустить. Под завесою дня
все что ночь обрыдала ожогами звездными,
колдовством и юродством клеймя,

лепестками с колен ниспадет, и слеза
растворится в прозрачности серого цвета.
Из помятых зеркал отпускаю тебя
отраженьем погасшего божьего света.

1981

2.

Эта было уже. Из осколков себя
отпускала на волю. Свобода честнее.
Было время, секундные стрелки дробя,
измерять этот мир на присутствие тени,
на присутствие щели - в кой видно тебя.

В этом мире тебя из разбитых... Ну вот
научилась теперь - мне самой не разбиться.
А пустые глазницы похожи на рот.
Рот не может не петь. Круг не может не виться.
Ты не можешь в меня не смотреть.

Было ж божье... Теперь черти-что в зеркалах.
Толку что занавешивать, коли свобода
мне не спать и глазеть, как живая вода
превращается снова в засохшую соду
простыни - а под ней - лишь бессонницы лед...
Я другого тебя отпускала в полет,
я другого тебя, тому сколько уж лет,
я другого тебя, отпускала, как свет.
Ты ж останешься - в этих моих зеркалах -
Занавешенных - к этим в себе привязала.
Было страшно на свет - а с завешанных нет
входа в выход.. ты скажешь: о, брось этот бред!
Скажешь вслед. Крикнешь вслед.

Поднатужишься вслед.

Ничего не получится: вы-шепну я.
Я не бьюсь. Я не бьюсь. Я б хотела сама.
Я б хотела, хотела разбиться...
Сколько слезных кристаллов в столбе из стекла?
Как я стыну у этих зеркал без тебя...
Как в них множусь, тобою дробясь...без тебя.
То ли Лот, то ли Логос мне снится...

17 Марта 2011 г.

АКРОБАТИК. MOZART-AGNUS DEI

Я ширОко летала по вере.
Зритель думал - какая грация!
В кружевных комбинациях нервов -
акробатика. Акробатится.
И на стенки я позже лезла
по камням пирамид и склепов.
И сказалось. Так стало тесно,
что загнулись пространство и небо.
Птичек, лучиков им не хватало...
А во мне засыхала утроба.
И в гробницы я лезла, как в скалы.
И с мышами молилась богу.
И в предбаннике с пауками
с Свидригайловым мыло делила, -
чтобы пламя воду лакало.
И - как Каин - тебя я любила.
Авель, Авель - мой милый Агнец!
Что ты знаешь о ярости Бога?
Этот танец - ах, этот наш танец,
эта сцена - не шире порога.

ГАЛАТЕЯ

Если допустим, я откажусь мечтать,
если приму жизнь -

как она есть,

перестанет зима

землю с огнем мешать,

Галатеей не станет глина

и сердцем - медь.

Если в губы весною пустынной
не отважусь опять

взять

острозубый осколок

моей подзабытой мечты,

с благодарностью голода

и за эту стеклянную снедь,

из распоротой глины,

из зеленого, звездного холода,

сможет ли снова она

для тебя

с небосводного гула

творенья

в ладони упасть,

Галатея -

ручная звезда

в пигментации обжига,

в неводе тела, -

живая лихая беда -

неуклюжему скульптору

нежная, гленная месть?

Какой нам царский дан диапазон:
любить-страдать-завидовать-терпеть!
Как мир дремуч и дик, но как волшебен звон
литья небесного, заплавленного в медь!
Сиренев или рыж, но звон закат вольт
в небесную раструбину ракушки,
и зрима - благодать, но кто ее поймет,
когда белье из облаков у неба на макушке,
развесит по-простячки, как бедняк,
мой нео-реализм? Весь день пробив баклуши,
мой царь сухарь грызет - и все ему не так.
Мой нищий на горе - простынку снега сушит.

СКАТЕРТЬ. ДНЕВНИКИ АНДРЕЯ ТАРКОВСКОГО

Страсть к довоплощению.
Тарковского тетради.
Роюсь в углублениях
дневниковых кладей.
Залежи из пленки,
счет, расчет и мнение,
да мокреньким опенком
задышит на мгновение
осень перезрелая
в рисунке запорошенном
режиссерским зрением,
тазиком с морошкой
дождь в его Италии
пахнет, а не жимолостью,
и на козьих ножках
все его же милостью

скачет та Италия
по русскому пейзажу;
в храмах, как в запаренных
избах, да монтажом
топает по скатерти
кадров - самобранке.
Память там - что вмятины,
что следы от ранки.
По губам - да рассыпью
до снегов скосило
Брейгеля полозьями
время - просквозило
Русью, солью зимнею
на огне ладошку.
Как молчать просили его
мадонны те на дрожках!

В дневники же вправлено,
что не углядели.
Все снимали правильно.
На дорожку сели,
отъезжая. Жертвенность же
в действе, а не в месте.
Дневников размеренность.
Девственность. Поместья.
В крошки запечатали
крестники архивные -
скатерть...как печалилось Вам
в даты именинные?

Как в долгах - недолго
полыхали, пучились
планов заголовки...
Как вы там - отмучились?

ФАРАОНОВОЙ ДОЧКЕ

Нам очнуться б - из рабства, - выжаться,
и, встряхнувшись, начать все сначала.
Да воды набралось нам - ижица -
по плечам, да плетьюми - качала.

И раслаивала нам зрение -
по морщинке - на год невезения
приходилось. Текла река -
всё египетские берега...

И - как стебли -
слепы в морщинах -
мы уже под водами Нила,
нам не вспомнить, как жгло отчаяньем
юных жен молодую глину,

как тела их песками плавило,
и как в амфорах стон топило,
как ложилось мужьям на спину
золотого Нила молчание
и о темном смиреньи молило.

Тыщелетнее падало семя
в это царственное средостение
тонких змеек на хрустком веере,
А из рабства палило Временем -
под египетским мраком и илом.

И не зная, кого зачали,
вновь вставали и снова пели,
и корзины плели, и лепили
пирамиды, иероглифы, лилии...

<Под хлыстом же живот с венчания
девять месяцев - относил...
Я ту вечность едва примечаю
под водицею нашей осеннею.>

А в корзинке плывет провидец,
тихим листиком - Мойше, о, мой же
фараоновой дочке гостинец -
то дитя наше, дитячко божье.

ТРЕХЛЕТНЯЯ ДУША

Трехлетняя душа моя глупа,
чиста, резва, игрива, непослушна -
и верит всем - во все - во все в слова,
и знать не знает, что она игрушка:
в тоске по чистоте на гребешок волны
кораблик, пущенный тобой из детства,
она-то настоящая была,
она-то верила как в теле-теле-тесто
любому обещанию любви...

.
А, в общем - ей - как раз и ничего.
Ну, отсидится, спрятавшись под стулом.
Пока меня на щепки разнесло,
ее всего из форточки продуло.

ТЕОДИЦЕЯ

Красота спасет мир.

Ф.М. Достоевский

Не тронь теодицею в Божьем мире.
Немого мычания - для Славы явленья.
По яблочку - каждому. В яблочко - в тире.
Мишени в меню. И Осанна для пеня.

Всевышнего ль воля раздрызгивать в ключья
концовки счастливые в стареньких сказках?
В Освенцим идут поезда дни и ночи.
Билет возвращает Иван Карамазов.

А сверху невинностью небо развесилось,
и вжало в землю Алешу, как Авеля,,,
Только вот ведь,
к какому кресту,
мне,
Мессия,
принести
золотую улыбочку доброго дяденьки Менгеле?

Так поплачь Одесную - почто и кому их оставили...

Теодицея - Божественное право , т.е. привилегия
всемилоостивого и справедливого Бога
поражать невинных и сокрушать тех, кому это
предопределено, и все же оставаться любящим и
справедливым Божеством; в богословии тайна.
Источник: Теософский словарь...

Теодицея - также является основным вопросом в
произведениях Ф.М. Достоевского и зерном спора
между Алешей и Иваном Карамазовыми.

Доктор медицины, красавец и умница Йозеф Менгеле, прозванный в Освенциме «ангелом смерти», проводил химические и анатомические эксперименты на живом “материале” и отборы в газовые камеры, при сем раздавая малолетнему “материалу” шоколадки и насвистывая мелодии Вагнера и Моцарта.

МНЕ 20

Князю Мышкину

Мне 20. Я сижу открыткой
под елкой. Зайчиков лелею.
Я здесь еще тобой не вскрыта.
Я здесь еще тобой болею.
Под книжным душным переплетом
Мечтаешься мне. В бонбоньерном -
прошедшем веке. “Идиотом” -
для всех, лишь мне - моим и первым.
С мольбертом. И еще скрипичным.
Мизинчатым и единичным.
Пусть мотом, может быть солдатом.
Тем - оловянным, тем - не ватным.
И лучше об одной ноге.
Пусть во грехе. Скорей, - в грехе...

Скорей во грех! По подворотням
немееет варезка в пару.
Я приколачивалась к сотням
дыханьем легким, горьким корнем,
серьезностью на детском лбу.

Меняла бисер я на травы.
И ржавь пила. Давилась салом.
Плевала в золото. “Люблю” -
Не доверяла и огню.
Не доверяла даже дару.
И несказанным берегла.
Как голость млечности. Как славу.
И славы стыд. И дрожь стыда.
До самого конца вокзала.
До самого: “Тебя - узнала”.
И только там произнесла.

Там - где морщият семафоры.
Где стрекозой - вагона хвост.
И дразнит чернь, что несерьезен
в таких годах - такой анонс.
Что видится мне Моцарт в пене
закушенных судьбой удил.
В балетных кружевах - Евгений,
что в молодости не-полюбил.
И “Идиот” - в земной юдоли -
под занавес моих ветров.
А опрокинутое в зное
твое - с другого света: Бог.
Богиня. Муза. - Это втуне
лишь шлейф гоняло. Попролам
лишь там, где музыкой стонало
меня - на створки две - лишь там!
Лишь там, где музыка, как корка,
тебе, голодному, была!
Лишь так распалась я на створки.
Лишь так. Здесь поздно остановке.
И гибельна вины волна...

А впрочем, видишь, дал напиться.
Колодцем - космос. Дом - на снос.
Дожди - те вечно под откос.
Спасибо, что на миг явился.
Ну а звезда - та всюду гость...

Да и моя уже не здесь.
Она бежит по ливням рельс.
Подсвечивает синим лес.
По окоему чертит дымку.
Прокуривает в книжке дырку.
И садик развела из роз.
И ласточкой зовет вопрос.
Но отвечает лишь улыбкой.

ЦИФРЫ. НОЛЬ

Нет ничего прозрачнее, чище и величественнее
нуля.
В своей совершенной природе,
заимствованной им
у зеркально-озерного овала,
он вечно стынет от холода,
натягивается до предела
и, созерцая, каменеет по кромке.
Несмотря на то, что в солнечную погоду,
он, как ребенок,
любит выдувать мыльные пузыри,
в нем строго запрещено умножаться.
При сложении же
он снисходителен, любезен и мил,

хотя и несколько молчалив и застенчив.
Но бывает и он
капризничает, теряет чувство меры,
больно сжимает плечо,
мутит воду,
или бросается камушком,
метко попадая в сердце.
Иногда до него просто недосчитаться.

А вы умеете плавать кролем в нуле?

ЛАК БЕССМЕРТИЯ

К. К-Н.

“Свеча свечу рождает в зеркалах,
которая из них сгорит быстрее?”
Та, что качает звезды на морях?
Иль эта: ту зажгла - и в ней немеет?

Ах мне бы ТУ... что на столе... зимой:
Стучала башмачком. Знобила плечи.
Зеркал не зная, Та - была святой.
При деле. Значит грешницей - простой ...
свечой - метелью гибнущей - овечьей.

В пространстве ночки: свечке тучно в зеркалах.
Здесь, как трельяж, разводит тайна руки.
И кто-то третий возникает из сей муки.
И топит время в пьяных янтарях.

И пламя завивает в жар щипцов.
И звезды взмучивает в косы ночи угрем.

И пахнет жалобой веков в напудренности букли.
Притворством - в призрачности девичьих венцов.

О, Лак Бессмертия! Тебя узнала я!
Ты просто морок бальный! Ты - без смысла!
Ты - бигуди седеющих пустот.
Ты - поволока взгляда Василиска!

А я хотела в небе васильков...
А я хотела космос - коромыслом!
А я хотела меда течь из звезд!
И просто так - хотела я напиток...

И я хотела хлеба - для огня!
И раскатиться ртутью брызг по крыше...
И я хотела зажигать - Тебя!
Сгинь! Сгинь! Как бы у нас чего не вышло.

Сгинь. Сгинь. Курлычут в небе про меня.
В окошке - синь. Но небу то не видно.
И небу это, в общем, не обидно.
А мне с огарочком свечи теперь возня.

А мне с огарочком судьбы теперь забот...
А мне опять - как в старый - в новый год...
И что-то там мя/учит кот-не кот...
Дурацкий кот, оранжевый, как тыква.
И полон снега рот. И полон счастья рот.
А я от счастья уж совсем теперь отвыкла...

Но ночью - Зеркало? - Пусть кто-то унесет.

ОГОНЬ

Ты говоришь, что тени все спалив,
един огонь души пребудет в Лете.
Но любит тот огонь лишь розовое тельце
цветка, ребенка, яблочка в налив.

И если Тело - тень, то тлен и нежность
синонимы в духовных словарях.
И Вечное глядится в неизбежность
исчезновенья, словно зеркальцем лоя,

изъян в лице возлюбленной. Дороже
он совершенства всех классических богинь.
Так сирость времени у вечности под кожей
течет, как кровь, и жизнь дарует ей.

ГАМЛЕТ ВЕСНОЙ

Блестящая точность акаций
в разъятиях теплого сна.
- Горацио, друг мой, Горацио!
Опять в Королевстве весна.

По улицам хрусталиями
бидон с молоком дребезжит.
Как девочка с бигудями
проснется и побежит
за утренним ранним возницей
Весна - добежит до леса...

- Каких чудес не приснится,
мой принц, Вам, пока принцесса
воткнув в кружева свои спицы,
томно тянется к томику прозы...
Зима на исходе... Что ж пресно
белеет известка дозой...
забвения ...? Кудри... Ресницы...
Супруге не безызвестно
влечение Ваше к девице...
из прошлого... как неуместно! ...
Как сладко поет синица
Закона! Какого ж вам беса,
чьи там расплетаются косы,
и кто добежал до леса,
до озера, до угрозы,
безумия до, до отвеса?
К утопленнице ль невесте
о Бытии вопросы?

- Но друг, и по мертвым месса
весной полнокровнее розы.

ЛЕТО ЛИРА

Беглянка слепая, за стук городских парашетов
держишь, размякая от грохота пыльного лета,
от зова кобылы гнедого.

В жаровню копытом забила
погоня природы, плода нераскрытая сила.

Розаны щебечут в дорожном пупырчатом крупе,
и супной агонией где-то состряпанной муки, -
где миски озер набухают под солнечной лупой

и кремовой пеною рощи
взбивают свои округленные тяжестью руки,
земля отрыгнет прелым бредом пейзажа,
а может быть глупостью Смирны.

Из жабры рассвета потянет тягучим эфиром,
и потом, и ревом, и жиром.

В тарелочный рот и лугов и дороги,
и мухи на листьях...

В безумный зрачок насекомого ночь окулистом
проникнет, что в сточные города дыры
от ливня спасенье.

На бойких часах золотит циферблат воскресенье.
О Мысль о шекспировской летней испуганной ночи!
Лихой котелок сотен грез

нахлобучен на темные ключья
балконов, торцов, голубков - удлиненья
творимы эфиром....

БАЛЕТ КОШКИ

Зачем мы тянем это нитку
из мокрого клубка разлуки,
разбухшего от детских слезок
о никогда не бывшей встрече?
С клубком давно играет кошка,
которая давно сбежала.
Тем прошлым летом было жарко,
и мы почти не говорили.
А на песке шипело море.
А на песке кипела встреча.
И выкипела годом позже
на батарее зимней стужи,
на кресле с пыльными зрачками,
там, где, как лебедь, смерть из крыльев
назвалась озером экрана,
там, где как трон Шехерезады,
обитый сводкой из газеты
о мореходах, аргентинах,
о шхунах и землетрясениях
летало кресло в диком танце...
а в серебристой скуке шрифта,
в изгибах выцветшего шелка
уже проглядывало - ВРЕМЯ
уже задумывали - Казни.

Но морем? Морем - мы любили.
И планы строили. И небо
еще глядело облаками -
совсем-совсем не понимая -
из полусумасшедших глаз.

А кошка - та, что пуще горя.
А кошка, что тогда пропала.
Та - по сей день все тянет нитку,
грызет, как будто Ариадну,
грызет за голую лодыжку,
пока не пустится та в танец,
дробясь в клубках и лабиринтах
бездарного кордебалета
судьбы, дробя ее сплетенья
венков на мертвых пьедесталах. -
оставленная... это позже...
на острове... своим Тесеем...
Персеем - превратившим в камень...

Так что еще? Ах, да - о кошке.
Той кошке - той, что я любила
за боль в глазах твоих о встрече,
за сердце в верстах, в желтых звездах,
в стратотерпениях, где только
молчанье кошки обретают -
в молчании
- все тянет нитку
из мокрого клубка разлуки,
из никогда не будет встречи,
из боли, крепче, чем объятья,
Та кошка, что тогда сбежала.

ЗАВТРАК
ЗАПИСКА НА ПОЛЯХ МЕТАМОРФОЗ ОВИДИЯ.

Предо мною экран - пустота.
За экраном звезды высота.
Между: мозг твой, как всмятку яйцо.
Не ударить бы в грязь лицом.

Не ударить бы мне тебя,
По экрану ветрами бродя.

Нет уж, лучше гораздо сургуч,
запечатанный в таинство туч.
Но пролью-разозлю все равно.
От стрекоз задубело окно.
Ветер, ветер, - в тебе весь минор!
Не таков был с тобой уговор.
- Жизнь сама! Золотое Руно...
Как же случилось, что все - все равно?
Что Приам, что Примат ... Да весло
без уключины Трою снесло.

Морем - вынесет. Трое же - пасть.
Не простить - не равно - не припасть.
Не прийти - не припасть - не равно.
Крестовиной окошко виднО.

Утро мечет червонную масть,
будто в пасть за окном - Эту снасть
разверну я в Рассвет. Привет.
То ли выдержу, то ли нет.

Так тебя в эфире, как миф,
клей белка по губам - возлюбив

в глубину - золотила - змеей
в эволюцию - Бог с тобой.

Если б только не Курочки мысль:
Можно ж было простым обойтись.

А не ждать: что вот-вот подрастет,
то яйцо, и миры соберет
в мысль. Но нет.
Крутизной кипятка
не чистится-святится река.

Стать Европою - да поскорей.
Галатеей - Она все ж милей.
Пусть проклюнется из тишины
Галатея. Из Ида. Не ты.
Галатея яйца. Легка -
поведет, как быка за рога.
Синьку в дребезги - грянет стыд.
Вспыхнет заревом бычьих ланит.

Я пойду, умоюсь пока.

Ах ты, Леда, мой гусь - лебедой.
Что ж ты сделал с моей судьбой?
Мифа смурь - в протоплазме жива.
Из кофейника льется звезда,
словно Стикс в серебристость плит, -
пенкой синьку огня чернит, -
в звездной плазме.. и в прото... Корыто -
эволюция для Нереиды...

Где столом заправляет Овидий,
в скорлупе ковыряясь, нитей

между звезд я смогу навязать,
как сказать, что два-с дважды есть пять.

НО пора. Дорастешь - черкни
мне в века пару слов: “Верни...
мол свои голоса-словарей,...
перезвон голубых звонарей ...”
Как листва - облетят века.
Не прощаюсь. Привет. Пока.

DELLAMORTE DELLAMORE О СМЕРТИ, О ЛЮБВИ

Окно погасло. Я осталась.
Одна среди песков пожухлых.
Окно. Казалось бы, что малость.
А так вдруг прошлое распухло.

В угрюмой темноте, что бархат -
истрепанной, ресничной, нежной...
И ветер снова станет харкать
На сцену эту побережья

Моря без окон. На курорте.
Осенней ночью. Без покрыва.
Окно погасло. DELLAMORTE,
Слепая девочка без крова.

По самой кромке моря бродишь
и тянешь окон беспросветность.
Окно погасло. Ослепло горе.
Ненужного курорта местность

И дух его одновременно
Вбирай под темные ресницы.
Одно лишь будешь знать наверно:
На ощупь в память входят лица.

И начинают свой парад,
Где каждый каждому не рад,
И освещают карнавал,
Где шут морей в песок упал,

Где на ослепшие зрачки
Порт-карлик натянул очки,
Где корабли стоят бессменно,
Где смерть густа, как тюль из пены.

DELLAMORE: В морях опасно.
Размокла тушь. Все не напрасно.

Прекрасный жест - прекрасный поцелуй -
губой к руке прекрасной прикоснуться.
Но я предпочитаю дуться,
как девочка, и не играть с тобой

в прекрасную любовь, и ждать в слезах
пока научишься ты целовать ладошки,
в чернилах вымазанные, в крошках, -
и слизывать с ладошек этих страх.

Перед тобой открыта эта дверь.
За этой дверью радости и света
гораздо больше,

но поэта
как руки целовать, не знаю я, поверь.

ВОСХОД

В том мареве,
что дышит талой ленью,
в тех паузах,
где сон разлитых вод -
протяжный вздох,
и облаком - Офелия -
платок к губам, -
чахоточный восход.

В. НАБОКОВУ

Мне лампочка на двадцать ват
Укажет на отметку
На карте, где заветный клад
Укладывался в сетку
Хребтов и рек.
Мой детский клад
Зарыт был в сеть из шубы -
Подкладка шелка - водопад
И слезы - щебет в губы.

.
Кузина раз нашла меня
Под шубою в прихожей...
Она взрослее на два дня,
И мураши - по коже.

РУСАЛКА

В порядке слов - изгиб любой души.
В мой - дьяволенок некий синим вволил
всплеск-смесь - все вместе - смуту-радость-горе.
Всклоочет в горле сквозь спиральки в разговоре.
На поворотах в щели входит море
и в небо падает. Пока ты не лишил
горизонтальности своей-моей ладони, -
он танцем был.
Вначале был смешным.

Как мячиком гонял из века в век.
Хрустальным был.
Был - как зеркальный смех
из королевства Моцарта. А ты
его ловить и возвращать умел.

Но дальше - дальше уже полною ступнею -
не на пуантах - я пошла, а наготовю,
и верою пошла я за тобой,
и без страховки шла по горизонту.
и видела тебя, тебя за бортом.
Ведь сколько Звезд! Но только мой,
смешной, -
из детских, - фуэте - тебе живой
станцует всхлип погасшего луча,
что видим только мне - щекою горяча,
и из глубинки, вызывая дрожь,
где днище в зеркалах,
звездой моей пригож -
прохожему, тебе -

из тайны снов - взойдешь! -
всей верой детскою -
Ты - на меня похож!

Взойдешь, взойдешь
на эшафот со мной, -
Взойдешь,
потом спасешься, словно Ной.
Потом воскреснешь -
словно звездный дождь! -
Со дна надежд воскреснешь
и - взойдешь!

Вот так звезду в тебе рожала и зывала!
Дремучесть космоса! Где луч звезды - там жало -
И вот ладонь уже остра, как нож.

И вот в ступнях, как у русалочки, свербит
лишь кабеля отек...
В лучах моих - пружинкой
лишь стон всех жен -
лишь вопль кариатид
с зажатым ртом,
как камень под сурдинку,
и с миской - в очередь
встает мой-динь-динь-звон:
Таков закон. Таков теперь закон.

Итак, заснув, возжаждал ты изгиб
Русалочий - и сам в себе погиб.
И погубил в молчаньи голос мой...
Он - ныне - стук хвоста.
Он - в чешуе - не/мой.

Он бьет с листа,
Он бьет в тебя, как стяг
Хвоста разбитого.
Крыла - в котором мрак
каменной над головой - Кариатид.
Молчишь? Молчи...
Еще ты не убит.
Молчишь? Молчи...
Я - в лепет, я - в летать,
латать и течь...
сквозь течь в ночи.
...и ждать.
И ждать, пока в луче
забьется пульс.
И я тогда сквозь ночи течь
вернусь.

НАБРОСОК

Стихи мои, стихи вообще - любые,
ни истины, ни жизни не хранят.
Они всего набросок для богини
любви, а после ангелы в эфире,
их доработают, пока актеры спят -
в ином миру, в ее домашнем театре.
А мы лишь черновик
в надземном том спектакле.

ГАЛОЧКА

Там, где галочкой стих
вырывается с криком из сердца,
и дымятся костры,
и кадят кровью спекшихся дат, -
стихотворчество - шов,
хирургический ад,
воскрешенье младенцев, -
чтобы снова сквозь строй их прогнать
неизвестных погибших солдат.
Чтобы те - кто давно
в нашей братской могиле уснули,
пробудились от спячки, -
от звука хлыста - своих собственных рук -
в перьях крыл черной галочки с синим узлом
передачи
в красном клюве -
за прутья
предательств, смертей и разлук.

Чтобы там - под софитами звезд -
этот пот, эта мука подмостков,
этот пост тишины, этот хлыст из оваций,
и жаркая краска стыда -
разбудили зарю, -
и зеленую медную горстку
чьих-то слез по лесам -
разбросала
и ими звенела цветная вода.

И весна началась,
и грачи прилетели,

и раздвинув - как в храме - завес
по рядам потекла - тишина -
так густа и мощна, словно в горсти деревьев
дым от лопнувших почек, незримый, черненький
почти - сам собой обомлелый,
и слезами, случайно забытыми мертвыми зимами
в теле -
то - что живы... да что там,
хотя бы с одною слезою -
на подмости - сейчас - мне - взойти,
чтоб проснулась весна.

ДОМ

Я вашу жизнь глотаю в строчках,
как умирающий от жажды
глочет ежедневный шорох
простой воды под краном каждым

в квартирах - из которых люди
имеют право выйти в город,
где ноги носят и очи судят,
и шорох улиц их жажду кормит.

А я живу, где краны - кража -
стихи оставленной культуры.
И улиц нет многоэтажных.
И в пригородах бродят куры.

Американский мой dream and beauty,
почто достался - мне - непутевой?
Какой такой всевышней сути
мой дом послужит? Мой стопудовый?
Я жить хочу размахом шага.
И шпагой улиц. И действием. Действом.
Американская моя ты сага...
Здесь дом стоит. Живет семейство.

ПОКОЛЕНЬЕ

Поколение, мое поколение,
научившее меня на бегу
грифеля карандашные грызть.
Поколение - в памяти по колено -
не оставило мне
адресов, телефонов и лиц.

Поколение - в твоих поездах
эмиграции зыбкость.
А скрипичное сальто-мортале
лишь соло извечный упрек.
Ты воды пожалело,
одарив нас так щедро
плавниками, губами,
висками, улыбкой,
да еще вот чешуйчатым сором
из вороха-шороха строк.

По квартире меж двух океанов
однажды рассыпав те строчки,
в них губу раздирая
сухою словесной наживкой,
ловя и глотая забытой любви слюду,
я смотрю, поколение,
с тупым удивлением рыбы
на твой разбежавшийся почерк.

А ведь был в высоту твой нажим.
Был наклон в глубину.
Наяву был Балтийский перрон.

ДАТА

Вот и дата - все сорок.
Дети вылупились из карманов.
Вот и развеяла в дырах вокзалов
горсть стихов и кучу пеленок.

Вот и карманный Пастернак сменился
на томик отца Тарковского.
Но на небе моем полосатом и плоском
все же много осталось синьки.

Только старость что-то присесть боится
на одну скамью с красотою розовой,
так и не покрасневшей от тугих лет.

А как присядет, стеариновая,
так и вообразится,
что меня, много-цветной, много-голосой,
той, которой вообще еще не было - уже нет.

СЛОВАРНАЯ БАБОЧКА

Да что я в самом деле. Ни одно
из слов моих ты не поймешь, о, чужестранец,
в стране, где время слишком юно, чтоб вино
набрало терпкости, и где стыда румянец
приклеил с двух сторон рекламный глянец -
стыдливость бабочки, роняющей пыльцу...

Компатриот же скажет - не к лицу
в стране успехов - сирой бабочки гримаса.
Что бабочка та, более того,
в поэзии уж умерла давно,
а если не давно, то все ж напрасно.

Что образ сам - лишь дохлое сравнение,
что спор не равен меж культурой и мгновеньем,
хоть и нуждается в столетиях вино.

Добавлю - словари не смыслят ничего
ни в шорохе крыла, ни в вдохновеньи,
да и любовь моя всем вчуже все равно.

У них, у нас, везде - не в моде хруст атласа.
И так в миру живя, где царствует пластмасса,
как ни скорблю, как ни скребу с крыла пыльцу,
лишь смерти бабочки я потокаю тем

из года в годы.

Но даже к этому печальному концу
ты - не успеешь овладеть искусством перевода.

ВЕРОНИКЕ ДОЛИНОЙ

1. Концерт в Сиэтле

На сцену перчатку бросить?
Или заплакать, как маленькой?
Это событие - голос и совесть, -
это цветочек аленький.
Там - на подмостках
в лапах у монстра
публики разношерстной.
А распечатывалась, как на допросе
за то, в лепестках много-перстное,
чудо, цветущее в песнях у Долиной
на пересылочной станции.
Принцем очнется ль месье Эмиграция?
Всей своей косолапой овацией
в голос и совесть запросится ли?

Вмыслится ль в эту - в крупицах мудрости
душу? - Каждому долькой выжметя.
Хочешь - останется просто гусеницей?
Лишь пожелай, эмиграция бойкая!
Лишь повели ей - выдышаться!

И от цветка апельсина хмелея,
сколько же, сколько нам данного
то Суламифью, а то Дульсинеей в ней,
соку, любовью нагнанного,

света - за толстою щечкой облизанного!
Сколько дуэлей, молитвы, вызова!
В щелку все вслушивается
будто в рану
принц ли там, зверь почивает за рампою?

2. Душа

Может быть, ты только время,
уместившееся под моей подушкой?
Были же другие - выше, вдохновенней,
а твои бараночки и сушки
размочил в московском сите дождик.
В детский голос, словно в подоконник,
упираю свои круглые коленки,
но за тем окном совсем другие виды.
Что мне, Долина, твои грехи, обиды,
твои Сретенки, наряды и Неглинки?

Разве снова из под заспанной простынки,
вдруг зацветши, от души моей пенек
твою песенку споет, а там, поди, звонок
в дверь раздастся. Поднимайся! Хороша

жизнь! Да только вот почто она - душа,
коли проживаешь в США,
не умея даже плакать не спеша? -
Не душа, а в горле - так - отек.

Да и дети здесь - совсем другие дети.
Только время в циферблатовом пакете
задыхается от стука ностальгии.
Голос тот же. Пропасти другие.

В ЛОГОВЕ СНА

Ядовитое жало или крыло?
Ах, не все ли одно, ах, не все ли равно,
если воздух, как вата, кричи - не кричи,
если сон, как в палате глухие врачи
мне зеленкой заливши - плечо ли? Уста? -
приторочили пластырем душу к местам,
где слова прорезаются, будто стекло,
а под ним то ли лапа, а то ли крыло,
в этом логове сна, где мне некому петь.
Так пиши про змею, про птенца и про смерть.

ПОМНИШЬ, ЧУВСТВОВАЛОСЬ ВОСКРЕСЕНЬЕ?

Мысли анализируют свое отсутствие.
Тесно - уютно - пристраивается к пусто.
Утешает: все ладно да хорошо.
Все - как есть, но вот оно, случайно вошло

воспоминание, потревожив тенью.
Помнишь, чувствовалось воскресенье?
А в него било солнце - в окно - на вылет
разлинованною тетрадкой, т.е. пылью.

Это все, что нам остается от детства:
ощущение дома, корица, тесто,
кресло, книжка, у Пруста - куст.
Пусто место. На нем - молюсь.

О каком-то небесном, земном движении,
обеспечивающим превращенье
в дом - места без снов, без названий,
в дом - над которым бы дым затюльпанил
под поджаристой рыжей пышкой
солнца, - над чей-же зеленой крышей?

Ты прожил, сколько ветер смог
прощать тебе ошибки,
и солнце прятать в узелок,
завязанный в улыбку.

Чтоб крепче рифмой заласкать -
зашил в подоле рыбки.
И скажешь: жизнь - что разослать
на праздники открытки.

И скажешь: память - не острог,
а Тайная Вечеря.
Как ты продрог, как ты продрог,
в заморский рай поверя.

КУХАРКА

Я в жизни сей ничем уж не владею,
Ни радостью, ни горем, ни строкой.
Они как будто варево с поверьями,
Замешанными чуждою рукой.

И травы их, и мед, и лед и солнце
Лишь пленка на поверхности колодца.
Лишь паутинка запотевшего окна.
Лишь закипающая в пряности волна.

А мне самой - ни холодно, ни жарко.
А коли что вскипит - то пережду в засаде.
Так ждет при супе с опытом кухарка
С него снимая пенку, как проклятье.

ПРИЧАЛЬНОЕ

Трамплин. Мотор.
Транквилизатор. Точка.
Была любовь моя ни лодка, ни баржа,
а так, у моря, на сырых его мосточках,
все неуклюже как-то, скользко,
как подстрочник,
печального, причального стиха.

А тут еще:
почище, да покротче -
волной плеснуло прямо у виска:
была - женой жила, а стала просто росчерк
какой-то палочки в текучести песка.

Стезя, ступня,
загнувшийся в крючочек
возник вопрос:
 о, безответная моя,
почто сидишь тут у приборя этих строчек,
почто все возишься в песке ты, как дитя?

ОПРАВДАНИЕ

Ночей моих - корыстные прогулки.
В воображении - природа мятежа.
Вот дверь. Вот поводок. Вот молния на куртке.
Бумажной! Дале - в ореол из стылой лужи -
среди домов, пеньков и прочей суши,
звездок глядится мой - небесная душа.

Он мал. Он нем. Да и по что ему тиары,
тиранство звездных игл, и моря закрома,
и пестрые восточные базары
из облаков, в гримасах молний - города?
Молчаний их разряды? Коль с порога
натянут - до ненастья поводок.
Немеет пустота дорожного острога, -
и тянет в стих любой попутный вздох.

Шепча, как коротко, как кротко расстоянье
от честного зверька - до казни на полях
черновика... Он подсыхает в ожиданьи,
что верная строка, а уж за ней земля
вот-вот покажется - и будет оправданье.

ОДА РУКАМ

Как же мои руки тяжелы.
Удержат попопробуй-ка валы
вымысла и смысла, чепухи,
незабудку, утку, лопухи.
Строчки, кочки, иглы да обиды.
Им пора уже в кариатиды.
В архитекторы, хотя бы, - да в бегах
не ваять моим усталым, да в богах
не стоять, ну разве руки в боки -
не от лени, впрочем, для подмоги
позы прочной,
но вокруг опять грохочут,
не сады-дрозды, а все-то те же сроки.

Жалят, жгут как осы -
мыслей сонм
задает о сущем все вопросы,
и от них надорванным насосом
не спасает боле стих, сопя как сон.

И пока еще в груди не грянул гром,
длинный отпуск мне сверкнул
в знамении - приманкой...
Может, это притянул последний склон.
Но хотелось бы по спуску мне на санках.
Да в отсутствии такой вот перспективы,
благодарствуя, что просто так уж живы,
руки, там где мозг лишь сила в силе,
все же точку огонька не загасили.

И дрожит он в тоненьком сосуде,
в горстке снега на неведомом пути.
За него простят мне глупость и простуды.
По нему и ты найди меня, найди.

ПЕСЕНКА

Если б я могла быть собой,
Я б бежала к тебе под дождем.
Ну а если б была свечой,
Воск бы капал тебе на плечо.

Или если б могла веслом,
Управлять потоком судьбы...
Только, видишь, стоит здесь дом.
Для меня он построен другим.

В нем и стены тепло хранят.
В нем и смех, и топот детей.
В нем меня никогда не простят,
Если я убегу к тебе.

Вот по дому тому и брожу,
День-деньской - сама не своя.
Только все ж по ночам я жду,
Не пошлет ли Господь дождя.

НА ПЕРЕВАЛАХ СНА

У всех ветров весенних на весах,
иль под верандою осенней мокрой мошкой
жизнь хороша - и полной дегтя ложкой,
и перышком медовым по устам.

Ну да - ползи иль стой, иль окажи мне милость
и умали мой рост, и повели мне спать...
Смотри, смотри, я в сон уже зарылась
горячею щекой юдоль подушек мять,

уткнувшись в угол шерстяного одеяла,
нет, все же хороша, во что бы ты - не стала
в моем райке бумажном, малом, сиром -
во чтоб крыло твое отважное не било,
и в липкости какой оно не застревало,
чтоб ни манило, а потом себя ни отбирало,
и как бы в небо не стучала мелкой сошкой -
была любовь - кровиночка - морошкой

под клапаном у сна, но в жизнь меня вжимала
по капельке, в просвет, в дуршлаг из одеяла,
проточенного коготком одной пустой надежды,
на перевалах тех подушек снежных...

ВОКЗАЛ

За этот дар - смотреть со стороны,
из тишины - на суету вокзала
хранителя я своего благодарю немало.
Немало под колесами вины,
вина и шума опрожненных бочек.
Чужая песенка навзрыд клокочет,
отстукивая счет в иные дни,
когда и я на тех перронах танцевала,
смеялась, отвечала невпопад
на приглашения проехаться с присвистом,
и сыпалось, как шелуха, мое монисто.
Луна - на рельсы. Монте-Кристо рвался в сад,
что сопредельно с тем вокзалом рос,
в тот звездный клад под тонкой пеной розы,
и все казалось, вот прицепят паровозы
тот сад к хвосту и встанет в полный рост
моя фантазия - она же и судьба,
и мы отправимся - Бог известит куда...

Куда там, впрямь, все там же мой вокзал,
и привокзальный сад, и мой безумный план...
И только толщины оконного стекла -
а с ней и тишины - прибавилось - не та
я танцовщица уж - смотрю со стороны
на паровозные желтушные огни.
Неслышно стук колес перетекает в вой.
И только ты - навечно - здесь со мной -
безумной очарованный игрой -
мой пан перронный, мой хранитель, ангел мой.

ВОДОЛЕЙ

Ах, женщина, пожалуй - несподручно
тебя - уж взрослую - опять вести за ручку.
Ступай сама - по тонким стежкам льда.
Вокруг года - болотная вода.
Где раньше девочку в ручьях чужих речей
по кручам вел обманщик Водолей,
тебя поземкой плоской облетит
еще один февраль. А Водолей - он спит.
Он спит давно - Зеленая Звезда.
Иди одна по краюшку листа.

ПРИЧУДА

В стихах моих, не писанных так долго,
что то ли я поэт, а то ли нет -
неважно стало, но нужна была заколка
для тоненькой любви, невидимой на свет.

Лохматой девочки, матроны ли причуда?
Но ясно стало: рифмовать - не ревновать.

А может, не хотелось мыть посуду,
а может, в мельхиоровом сосуде,
а не на блюде, захотелось мне подать
отрубленную голову пророка,

а может, все это, как прежде, и до срока
само возникло в чьей-то странной голове,
и опустив ладони в зыбь потока
волос моих, распалось по шкале
забот, стихов, заскоков, вещей снов...

Ах, сколько у меня еще голов
осталось на драконью раздачу?

Но вот пишу - и потому они не плачут.

Еще один день - не мой!
Хочешь спи - хочешь вой!

Жизни свобода дана! -
Это бредит вина.

Кажется ей весной -
Буду твоей женой.

Золотом буду на синем.
Это бредят пустыни.

Буду звездой - в степи.
Это - уже - стихи.

Глупости! Слово - сеть.
Я не умею петь,

там - где вершится Суд.
(- Отче, Вас как зовут?)

- Деточка, Бог с тобой.
Лишь бы в живых - живой!

- Жизни свобода дана!
Пляшет Щелкунчик - судьба.

Плещется в небо дверь.
Сбудется! В щель - поверь!

Видишь: в ладошки - немой! -
Бьет. Просто день - не твой!

Будет еще ночь -
вечная - превозмочь
всю суету дня.

Там и найдут - меня.

КОМАНДИРОВКА

В сферу сгущается, словно туча,
смысл одиночества. Звездные путчи
не затевай - распакуй сорочку
из чемодана. Под окнами бочка,
в кой виноградное было вино.
Лозы... Рассохлась... Иисус... Как давно
было все это свадьбой, землей,
стружкой надежды летя над грядой
солнечных гор, колыбелью, фольгою
ветряной веры - свободой, водою,

что и тяжелые стопы Петра
миг продержала - потом залила.

Сказка. Сгущенка. Собираются тучи.
Дай настояться воде на тот случай,
если по ней пригласят и меня
в форме беспарусного корабля
все же проделать известный всем путь
ввысь - из окошка мотеля рвануть
ртутью под градус небес, но надбровья
больше не мажь мне заоблачной корью.

Температура. Мотель. Отсрочка.
Господи. Пли. Я одна. Но в сорочке.
Вспомни: дарованной мне добротой
странного лика, что бездну водой
звездной, как детскую ванночку, полнил.
Тельце обмыли... Ах, полно же, полно...
Выпей вина. Здесь вина ни при чем.
Пусть погремит крестовидным ключом.

ДЕВОЧКА

Девочка длинноногая,
строчкой пунктирную
промелькнувшая в интернете
и не любящая дураков и кефира.

В каждой дырочке
твоего рваного зонтика
я себя узнаю, разбросанной
по всему белому свету,
по всему грозному миру.

И всего-то тебе, бедолаге,
шестнадцать годочков.
И годишься ты мне, усталой,
в дочки, в дочки.

Собиралась тебя, цикада,
догнать; по е-мейлу
и чего-нибудь там напроорочить,
типа - “то же, должно быть, колено...”

Да по грузности, да по зною
не смогла, не успела:
ибо телом, не шрифтом ворочать,
а телом писала
на другой стороне
дервенеющей общей ночи.
Для тебя это будет -
другой стороной портала.

УСТАЛА

Я так устала. Так устала так любить.
Сервизы бить - хрусталь небес дробить.
Не знать самой: я ведьма или так.
И каждый возносить в себе пустяк.
А шторы? - В шторы не задернуть этот мир.
И каждый мал в нем, каждый как-то сир...
И я сама - хоть и самой собой полна.
Стекла осколком в горло врезалась волна.
И всем разбитым дребезжит в разбитом слух.
Не брызгает мурашками... а вслух
гоняет мух с окна, и даже дверь в прихожей
он не спешит открыть - там может быть прохожий.
Оглохла. - Стук в двери - придерживаю как-то
перед чужой бедой. Да уж чего там - ладно.
Беда чужая - та всегда, всегда со мной -

неразольешься и стеклянную водой.
И только строчки все струится голосок:
Я здесь... я здесь. Но даже он не уберег.
Коль кривит рот от жалости - уста
не обретешь... Ах, мне б Маринина куста.
Зардеться гневом. Встать волною. И уйти.
Но хрупче, слаще мое детское - "прости".

У ЗАЛИВА ОТВЕСНЫХ СНОВ

Сорвалась я с привычек и правил,
по несбывшемуся затосковав,
и пошла собирать, что оставил
в этой склоке желании и прав

по распутице поднебесной
образ вечный - бродячий огонь.
Да завел на такой отвесный
сон, что даже из моря воль

не соткать эту силу свеченья
синих ламп, сквозь него запаленных.
А проснись на твоём плече я
утром слабым, плоским, голодным.

И по правилам этого утра
нереальности сна улыбнись:
здесь сыреет в провалах смутных
простыни солоделая грусть.

В этом сумраке - сну не хватило
электричества или синьки

ХОЛОДНО

Ну как не стыдно. Этот бисер. Вздор. Стекло.
И детские стихи. Их глупая игра.
Когда закат. Когда зимой. Когда корою лоб.
И седина. И воск. И всем домой пора.
И холодно в распахнутом окне.
И даль - опять. Но не в моей уж пелене.
А так - ничья. Хоть крутит слов веретено
Душа, забывшая разжечь очаг во тьме.

НЕ ПЫТАЙ О ПОГОДЕ

Не пытай о погоде... не тревожь меня боле.
Я себе не верна. Я упавшее поле
в горизонт - это ты. Не тянись. Не отвечу.
Я себе не равна. Лишь по искрам отмечу
наступленье снегов, но не вычислишь в сводках
укрошенье зимою земли. По утячьей походке
угадав все ухабы в перепадах моих настроений,
не поймешь все равно, как дурят в облаков ускореньи
серебристые иксы. - Поди, в неизвестности судеб
это звезды бунтуют опять, и возможно осадков не будет.
А тем боле - ответов. Не тронь, я прошу, меня болью,
уравненье души - загрустившее хрупкостью поля.

ОСЕНЬ

Осень, могу сказать - что красива,
да в сравнениях - заблудилась душа:
яблочком краснобоким, червивым,
дырчатой ль корочкой от апельсина,
кислородной подушкой ли ты свежа?

Леденцом ли обсосанным, полинялым?
Всматриваясь из-за плеча сиделки
в осень, в стыдливых румян накале
вижу - в страстные сии посиденки
уже не послушницей
- маскарадной кокоткой
в луж исподнем
с кровяной отделкой...

Год за годом
я сличать так устала
с опаданием кружев,
о, осени в глотку,
ее сор на причалах,
ее красок подделку,

ее жадную помесь
желтых грусти и буйства
в мою жалкую совесть
в самом узеньком устье,
дикость-сирость подтеков
по горбам: за холмами
мои скалы из сроков
в ее красок обвале.

В.

Как ты посмел, меня предав однажды, выжить?
Как смела я тебя, предавшего, любить?
И спор безумный тот вершить,
меж правом на любовь и правом жить.
И ничего-то в музыке твоей уже не слышать.

И чашечки весов качать, качать.
И становиться с каждым годом суше, проще.
А днем в кисейные амбиции впадать,
храня в потемках синих ключья волчьи
любви и жизни, что устали всем прощать,
запутавшись совсем в пружинах ночи.

Заставить их молчать, молчать, молчать.
Или, хотя бы разговор вести о прочем.
О чем угодно, только не скрипя.
И позабыть тебя, и позабыть тебя.

Уехав в тридесятые моря,
мне двадцать лет твой свет не перейти
в пустой надежде - в сердце ось найти,
что держит эти чаши на груди:
вражду двух чаш испитых - жизни и любви.

МАГ

Написать я хотела что-нибудь очень негромкое:
без судьбы и без шквалов ее, без девятого вала,
чтобы море спустилось
осторожно
по рифме, как кромке
моей крыши и чтобы внизу его тишина
поджидала.

А потом по дождей угловому размаху
услышал ты как
здесь в закон жестяной запечатался
каждый наш шаг.
Я хотела о дождике что-нибудь, вообще,
попроще,
но по рифме опять получается,
все-таки, маг.

И теперь я уже не усну -
маг всем морем своим
мне на миг того сна наступил,
и насупил он брови твои,
и застыла вода навесу,
и разбилась о крышу, а миг -
он под крышею судеб не жил.

Он снаружи, как дождь.
Он нас все же под крышей настиг.
Вот поэтому капли дождя
непонятны, глухи и легки,
и они в человечье жилье не желают совсем.
Но и нас не щадят
и копые водяное бросают в окно, -
в крыши щит жестяной.
Вот поэтому мы и не спим,
ждем от мага вестей, ждем о миге годами вестей
в упаковке шуршащей,
судакащих о море, синих дождей...

Погоди и судить не спеши -
тебе все это снится,
но снится - как дышится:
солью, счастьем, укропом
в огородных российских дождях.
Там остались всего-то от улиц окопы,
просверлены ливнями питерских весен -
но и те - все -
до ниточки -
памятью выжаты.
Здесь же мирно и сытно,
здесь сушь повсеместно,
и даже, пожалуй что, гладью вся вышита:
и работа, и дом, и друзья, и дела, и семья.

Да какой-то приструненный щебет
в голове - пересвист механизмов -
о побеге все мыслит:
простудишься - снова гудит буровая игла.
И не даст тебе здесь к тишине,
как к сосне, прислониться.
Все сверлит, все перечит всему
в этой добренькой, западной житнице.
Будто пальцем грозит -
ты одна здесь - о, птица - одна,
будто ноготь в губах у стекла.

Любовь - рентген.
Я вижу, как из мрака,
из первого мальчишеского страха
прожектор глаз твоих выхватывает луч
судьбы своей и строит дом из синих туч.

Из планок света - детские ответы
и жизнь скроют, и небеса сошьют.
Я знаю, как вода становится заветом
добра в тебе, и как леса поют,
возводятся из мыслей, бьют в виски,
как провода - лихой струной каркаса.
Но блок стыда поставлен на мостки -
и вот душа уже гудит в тоске мужского баса.

И вот ржавеет неба водосток.
Росток желания - уже кора объемлет.
Где голос птиц ловил, - лишь зябкий корешок
в фундаменте тем отголоскам тихо внемлет, -
их детским ужасам, питая дом-силоч.

Ты в доме том - один,
пока еще факир,
владелец хора мальчиков и вор,
на шапке с ультрафиолетовой звездой -
рентген - любовь моя, бессменный твой вахтер,
не поселился там, высвечивая боль.

11 СЕНТЯБРЯ В АМЕРИКЕ

Мы спим. Ветвями снизу машут елки
и в небоскребы добродетельно стучат.
А с высоты зеленых звезд стальные пчелки
роняют мед в слепой бетонный сад,
взращенный городом в бельме бульдожьих зданий.
Нью-Йорка спину выгибает дикий кот.
Но - чу!.. летит на нас осколком мироздания,
взорвав скелет многоэтажных тех. забот
само - убийство. И в проломленных массивах -
мотив суда - свистун извечной Хиросимы
нам напевает... тихим, жутким отголоском.
Засыпаны трухой, землей, известкой,
мы спим опять - в объятиях жадных вод, -
среди разлитых тел, ненужных сот -
с хребтом - проломленным - из воска.

Какая маленькая жизнь!
Зато, в каких больших кавычках!
Ирония, подсохшей спичкой
мне искру выскобли, зажгись!
В три строчки жизнь - жива покуда.
На все дана - от Бога - ссуда:
на вечно грязную посуду,
на закупоренность сосуда,
на голову в плену у блюда,
на все таланты - что под спудом,
на ожиданье смерти, чуда...
В свои заданья - углубись
и развернись в пространстве между

какой-нибудь пустой надежды
и сожаленья о былом.
О чадо, о цитаты гном! -
зажги, зажги - хотя бы с краю,
не оставляя на потом!
За скобками - кантаты рая,
и Дант, и ад и перелом
строки и жизни, как хребта.
Из берегов глядит вода.
Глядит, как грустная привычка:
Какая маленькая жизнь!
В каких она больших кавычках!

Я тебя потеряла,
может быть, ты пропал в Петербурге,
в безалаберных белых ночах
тебя крутит, как сорванный лист.
По каким из моих переулков -
бессмысленно гулко
ты бредешь, долговязый турист,
лишь вчера приземлившийся в Пулково,
свои волосы русые
в новых ветрах широко разметав
и дождями прошив.

У изысканной тени в плену,
у кружков, завитков меловых,
в этом камне творожном -
меж Растрелли и Росси
забывшись, бездумно застыв,

своим рысьим раскосом
впитав эту влажную россыпь,
в бирюзовых очах
отразив без конца, безнадежно -
чешую и броню
тех торцовых дворцов голубых.

И в петлях заплутав
у васильевских суетных стрелок,
на тебя чем-то очень похожих
своей непростой прямотой,
знаешь ли, чужеземный стрелок,
что за беды,
и что там за сделки
здесь вершатся в веках,
а не в годах,
любим из прохожих -
с этим градом прозрачным
над тусклою, злою рекой.

С этим древним туманом,
что был моей первою юностью,
моей детской ветрянкой,
сознания раннего рябью
у сизой дремучей волны,
как качаются площади в мороси,
с голода пахнет французскою булкой,
валятся в обморок улицы
в утренней каменной сутолоке,
и как стынет гранит у воды,
да на дыбу возносит мостами
и мучат ожившие сны.
Там увидишь,

в виньетках соборов,
в искусстве и в воздухе уксусном,
совершенно иной,
петербуржскою, юной - меня.

Образ девочки странной, как знать,
вдруг предстанет, -
отмечен еврейскою грустью
неизбежных прощений,
но все же, еще не уставшей прощать.

У решёток сквозных...
у лебяжьего Летнего Сада.
Я жила там.
А ты...
мимоходом в глаза загляни,
и ступай себе с Богом, -
ей больше мгновенья - не надо.

Замешать бы опять мне в огне
разделение нутра и пространства,
и придать порошку постоянства
вкус земли - вместо вкуса вины.
Микрокосмос и макр - в косы жизни
заплести - и косящим зрачком
поглазеть на небесное днище,
и не думать - на днище умрем...

И в разомкнутом круге свободы,
в убегающем отблеске свеч -

потерявши центральную ноту,
как тебя мне, Господь, убережь,
где набита окна крестовина,
только сором от ватного сна?
Микрокосм-макрокосм сталактиты,
и лохматая дура-весна -
все к единому тянется свету,
все понятную требует речь,
так верни в черный хаос - планету,
и в пространство - веселое вече -
щебет птиц, одиночеству - гетто,
дырам - сыр, и горшечнику - печь.

ИЗ ЦИКЛА РИСУНОК СЧАСТЬЯ

Рисунок потерялся счастья...
Но дважды в месяц ты меня встречаешь
под старую корявую сосной,
где я к стволу привязана тоской -
коза на привязи, трава в иголках желтых,
рисунок был, однако же, морской.
И белой пеной блеет та тоска
о камешек разбившись на осколки.

О, счастье! В шерстяных твоих носках
тепло семейной жизни я связала,
пока я под сосной
среди иголок старых,
тебя, мой милый друг, любезно поджидала,
как у моря попутной мне погоды...

Ах, что еще придумать о свободе,
когда, как вязь, струятся в травы годы,
когда моря - лишь в капельке росы,
когда рисунок счастья потерялся
на привязи у глупой той козы?

МОДИЛЬЯНИ

И выплеснулась тишина голубая из звона
зрачков - и душа избежала парама Харона.
По стеклам озер - Модильяни -

по глади, по-пьяни.

Вот, Чур! - и в тебя тишина голубая заглянет.
И в ней захлебнешься, как в колбе

из плеч и из шеи.

В том звоне, что лилии тише -

их стебли, их шелест.

Но все же всплывая с другой стороны

из озерной сей тиши

в моря, ты глазами услышишь, как выше и выше,
и глубже и дальше - кругами расходятся стоны
морей. И глаза - их причалы,

и долгие длинные формы

русалочьих истин

и хрупких ракушечных амфор осколки...

Его стратотерпиц текучие лики,

нанизанные на иголки

зрачков, что невидимы, как в пелене Василисков.

Иконописные души - в века уплывают

в голубеньких мисках...

Здесь все преходяще, - Как дети играют, -

замри, Модильяни! -

за росчерком тонким овала -

в веселом печальном сияньи.

РАМА

Каждый человек - рана.
Каждый человек - рама.
Для которого любишь - Другого.
Что-то мне сегодня фигово.
На коленки встаешь - как в рану
рта, что пишет тобою - из гама
птиц своих я тебя изгнала...
Крепче сих я силков не знала.

Я изгнала. Изгоем детство.
На коленках. - В горохе. - Вместо,
И тебя заменяя, - Как угол.
Я тогда тоже сильно тонула,
По гороху скользя. - На коленках.
Не измериваясь этой меркой...
Угловой... Ну а ты? А ты же...
Появился в конце. Услышав,
как в конце неслышно скребутся
мысли, кои коленками жмутся,
к пустоте. И горох, как ропот,
в пустоту молитвы, - и в топот
детской памяти. Думала гаммой
станешь громкою. Радужной рамой.
Журавлиною. Просто - Местом.
В этой черной, немой, вселенской
бесприютности моей детской.
И из коей твои позывные
словно горн звучали. И стили
звезды в небе горошком на ситце.
Ну и как было мне не влюбиться?
В эти звуки? И в платье? Вдруг спрячешь?
В неба радужный угол. ... Что ж плачешь?

Дождь прошел. Свет ушел. Да и рама
превратилась в эклипс экрана.

“КАЖДЫЙ - РАНА ОТ РАМЫ”

- Что ж плачу?

Никому не бывает тем паче.

ПИРОСМАНИ

Пиросмани, Пиросмани,
тигры, овцы, лисы, лани.
Пиросмани - не робей,
и в ребячую ладошку
мед янтарный ложкой лей.

Тигры все твои сладены,
и олени - леса руки,
все прозрачны, как янтарь:
страстные глаза старухи,
черный корень глаз, фонарь
черных грустных глаз жирафа,
тот жираф не жил в Тифлисе,
тот жираф всего-то мысль
о какой-то горней выси,
тот жираф - скорей, звонарь, -
колокол, что в странном теле
сел на мель на синем небе,
сверху посмотрел на нас
Пиросмани - твой рассказ,
как жираф не жил в Тифлисе.
Как не выжил там жираф.
Пиросмани - чижик-пыжик.
Тебя люди звали граф.

Удивленный взгляд лисенка,
ослика и балерины,
И овчина - пелерина.
И несчастная судьба.
Как тюрьма и как холстина.
И в полосочку картина.
По судьбе несется конка
самоучки и ребенка, -
свечки - черного угла.

ЗАЙЧИК

Губу оттопырив, стираешь старательно -
Нет - не резинкой, а указательным,
Нет - не чернила - детской слюной
С светлой картинки переводной
На кожурную поверхность ранца
Тонкую матовость - тайну глянца,
Толстеньким, не по девичьи, пальчиком.
Стань переводчицей, миру указчицей,
Чтобы, как в детстве, запрыгали в памяти
Звездные зайчики, ангел с трубой.

Девочка! Снимешь с картинки белесую
Эту завесу, - заботой твоей
Станет, как ждть в неуклюжести весен,
Станет, как жать в заунывности песен,
Как разгадать в неумелости кисти
Этот рисунок - волшебниц цветней -

фреской ползущий от детской старательности:
Дева пресветлая, зайчик, елей.

АЛХИМИЯ ДЕТСТВА

Натюрморт-вариация на тему Jewels, Balanchine

Вещи,
писать я хочу иногда только вещи,
так же, как Андерсен в сказках,
как розовый куст
вырос из трещин
в зеленой макушке на чайнике утром
и в розовой меди
воду писать,
ту, что тоненькой кожей
яблоко, лопаясь, солнышку дарит
и вате из дыма - подснежник;
пыль и парчу
ту, что свет заморозила в вспышках
кобальта памяти,
в ясных алмазах из комнаты детства, незнавшей
вещи бездушия -
все описать,
что шагреновой кожей лиловой
в старой шкатулке хранилось годами
беззвучно и ломко:
треск хрусталай,
и фарфора гремучесть в безделке.
Суть вещества у невинной души, что - в вещице...
Все - чем сей мир обернется, вернется
и взглянет с буфета,
живопись жизни рассыпет по комнате
заново начатой жизни,
жизнь разложив на столе ожерельем
желанья волшебным,

веер испанский, и фрукты, и полную чашу,
женственность бархата, шнур золотой и тесемку,
все - что вернет одиночество - сердцу,
и мягко подстелет -
Сердце пробудит в младенце. Я радуюсь вещи,
будто бы розе... еще не бывалой на свете.

РАЗЛИТЫЙ СИНИЙ ВЗГЛЯД

Я в памяти храню, как сор хранится в Мекке,
как в море соль, пока еще все спят,
в вопрос распахнутый и ищущий как дети,
твой взгляд, в меня забредший невпопад.
Спросонья - не поймешь, зачем забытый ветер
на небе снова и знобит седые реки,
зачем соринка тех пространств дрожит под веком,
и обихода ржавый обруч в пальцах смят...
Его качает на какой-такой планете
твой в пробуждение разлитый синий взгляд?

ПРОСТЫЛА В НЕБЕ ГЛАЗ

Простыла в небе глаз - без радужек, и ради
узрения моей души одним тобой, -
моделью листика - на ало-мятной вате
подстилки площадной и мостовой,
аортой крови - в сутолке и грязи.

Модель румянца, - стыд немислимый в распаде.
В точильне - не моей - божественности строк,
струится ток, волшебных звуков ток, -

но мне за пазуху души его некстати.
О, проще! И шумливей был мой бог!

Он жизнь на празднике флажков -
в их флюгерграде -
пролил фольгой цветных дождей в листву.
Что стыд листве? - хлопущи красок по холсту.
Натурщицей - измазанной в помаде -
душа, что дитячко, обнажена на маскараде
мольбертов уличных...

а зодчий на ветру
пустых пространств, зрачком усталых глаз
из листьев осени, как парус на лету,
раскладывает время, как пасьянс
над площадью зимы, и красок хмель во рту...

Вниз головою броситься - в стих.
Он разберется в осени -
горечь, горячка, тиф...
В титрах моей депрессии,
в месиве листьев есть -
мысль -
в ее равновесии
прячется дикая рысь
осени -
зверем мечется
в хрусте затравленном - звук.
К вечному милосердию
я направляю слух...

Стих. Осень. Нелепица.
Пусто мое окно.
Может пространство слепится
в старенькое кино?
Кажется ли, покажется
рыцарь в твоём плаще?
Там, за окошком карликовым
осень стихом, как валиком,
красит ущербность вещей.

ОКЕАН

Научись океану.
Ну не в глубь, так хоть с краю.
То ли грех, то ли рану
в нём водой отмывая.
И хлебнув керосину
с блюдца синенькой кромки,
зри пожар апельсина -
солнце в пористой корке
вод. Вглядись, как резиной
запечатаны крылья
у безумного клина
птичьих волн, что прорыли
журавлиный свой путь
в серой пенистой ряске.
Полюби ж эту жуть
до восхода, до сказки
ярких красок, картинок
на пространства экранов.
Под присыпкою синьки
пустоту океана.

ПЕРЕВОДНЫЕ КАРТИНКИ

Переводных - картинок пять
принес мне Новый год.
А в небе путь - седая прядь.
Пятидесятница из звезд.

И палец размочив в воде,
с картинок глушь - стираю.
По злаку - каждой той звезде,
по звуку - Адом ль к раю...? -

спущусь к тебе - на пересвист
во мгле многоэтажной.
И не измяв волшебный лист.
И не сгорев - бумажной.

Чтоб взглядываясь в каждый звук,
на волю вылить краски.
И строить мир упрямых рук
по-детски - без подсказки.

Переводных картинок пядь
земли и неба в судьбах.
И катыши тоски. И рать
мелодий в ней - в подспудьи.

ДОРА МААР. ПИКАССО

За гранью
таблиц эмоций,
плясок телесных изнанок,
призм мозгов,
струн картонных страстей
и внутренностей
событий,

за пределом добровольно взятой
на себя пытки
размещения человека
в космосе неоднозначной
вещи,

за гранью текстурных выжимок и чертежей,

за граффити,
нарисованных на стене мироздания
брызгами яркой плоти,

за пределом вывернутого наизнанку
тела престола,
на котором царствуют в перевернутом космосе
женщина и мужчина,

за чертежами смерти и набросками
ужаса -
и вне
термометров масштабирования
градусов движения сердца или
поворотов позвоночника
вещи, называемой человеком,

по кривой безысходной тоски
художника
об осмысленном жесте,

и вне тайных пакетиков гнева, улыбок и слез,
вывернутых наружу, как карманы
из твердой одежды объекта,

для него Она была - Единой Душой.
Духом - в фиксации глаз
на чистейшем огне
вечного откровенья.
Его Вечностью,

насаженной на булавки ее зрачков,
приколоченной к каждой ее ресничке,
в каждой возможной точке
его прозрений,
и рассмотренной под каждым
возможным углом -

Её -
Заключенной -
- в зеркальное пламя
стыда...

Дора Маар. Пикассо.

От всех моих несовершенств,
Шершавостей, улыбок ржавых,
Просвет божественных небес
Мне тоже кажется отравой.

Непримиримостью вражды.
Обременительную схваткой
Души с последышем души,
Золы с серебряной подкладкой.

Волной, засохшей в желобке,
Пробитом в памяти-жестянке.
И Рафаэлем на лубке.
Коровкой божьей в пыльной банке.

От всех моих несовершенств
О пощади, мой боже правый,
Просвет божественных небес
Мне тоже кажется отравой.

ТЕЛЕГРАММА

точка - конец или начало -
текста или на горизонте причала
линии телеграммы в бреду
точка парусник на лету
неба свернув паруса не падай
точка стеклом или оловом взгляда
небо студи и застудишь в купол
точкой зрачка и уставясь в угол
этой вселенной, не жди картинки
в точку свернуло и стерло резинкой
памяти - сможешь ли ты найти
самую глупую - не могу прости

точки точки над головой
в точке застряв задохнулся ноль

в точке боль зареклась в груди
точка больше не приходи
точка надо жить среди людей
в многоточьи захлебнулась метель
точек телеграммы к кому
богу тебе и считать не могу
больше точек чем у меня сил
в точку попав ты меня любил
в точку пульей - из точки свет
проливается - но звезды уже нет.

ЧАЩИ НЕ СПЯТ

Я на звук не хочу дуть -
охлаждать в жемчуга слов.
Лучше в губы возьму жуть
крикунов-кликунов - сов.

По ночам чащи не спят.
Тяжело в травы дышать.
Из Аида душистых мят
буду сон рукой выжимать.

Ничего не хочу писать.
Изменять теням не хочу.
Я совенком тебя в лесах
желтым взглядом озолочу.

СНЕГ В МАРТЕ

Здесь снег идет, как тонет пустота
в земле... но мыслит небо чем-то белым.
И помело летит по переспелым
надеждам - и бубнового туза

за пазуху все прячет скучный март.
Не ширится судьба в раструбах снега.
И горбится, как старых школьных парт,
наклон чернильных улиц, им не к спеху
за поворот... Там кривизна путей
горбата так же и крепка, как мост над бездной...
Намыливает пену брадобрей
на скулы полушарий, - миру тесно
в замерзшем марте, словно маме в букварях
всеобщих праздников
с цветком и тряпкой в раме...
Но жду тебя, помазанник, мой ранний
апрель, из пены вышедший в углях.

Сверкнешь золой, плеснешь мне в акварели,
чирикнешь веточкой, прочавкаешь лягушкой -
весь хмель ночных аквамаринных песнопений
с зрчками горьких звезд на лозе мокрых глаз,
в их золотой рассыпчатой опушке.

У вечности на краешке словарном
я примощусь, как позабытый башмачок.
Господь, мне по размеру не дал пары.
Всего и даровал, что язычок.
Не слишком остр, но все ж торчит упрямо.
А вечность та - живой картины рама.
Ван Гог в ней изумлено вдаль спешит.
И поднимает звон от звезд и океана.
А башмачок один. Опять в пыли забыт.
И вечность уж не рама. Вечность - рана.

ИЗ ЦИКЛА ЦВЕТЫ И ПТИЦЫ

Как в юности вдруг жизни поразиться,
немногим позже - поразиться смерти вдруг.
И двух птенцов вскормить из слабых рук.
Хоть удивления длинные ресницы
не вдруг смахнут с души моей испуг.
С испуга - этим птицам - ввысь стремится.
На глубину зрачка - натягивать мне лук.

МАЛЬВА

Я себя выманиваю -
из каждого жеста.
Из судьбы - плазменной,
со звезды - в детство.
Там меня - маленькой
и такой слабой,
помнит шорох мальвовый
в пыли косолапой, -
в мокром палисаднике...
вспыхивал - душистый
памятью о всаднике -
на тропинке мгливой.
Каждым воспоминанием -
о, меня - мерьте!
Так себя выманиваю -
у своей смерти.
По цветам и запахам.
Оптом и в рассрочку -
Жизнь - на тему заданную
мелочевкой строчек.

Он

И речь по горло полноречивой силой
Наполнилась, и слово ты раскрыло
Свой новый смысл и означало царь.

Арсений Тарковский

Я любила тебя - и как всхлип и вздох -
Я любила тебя, омывая свой лоб.
Или твой - от сомнений - до встречи - волной,
пеной слов, и как дальний, чуть слышный прибой
бьет о берег и вдруг - понимает - в тебя.
Я любила, как лодочка, морем звеня,
в рябь огня - поджигая волну - и сложив
руки лодочкой - с сердца скачала мотив.

Я - та лодочка, яркой водичкой полна.
В ней искрилась ладонь - так светила весна.
Я и богу молилась той лодочкой рук.
Било в море весло, будто ладанки стук
у меня на груди. И лодыжки обняв,
Знала, как одинок ты - среди мира облав.
И любила. А ты? Ты - взрываясь - любил,

словно буря - ты клятвой мой якорь дробил.
Я любила тогда, все святыни поправ.
Продолжала - когда ты ушел, разорвав.
Я не знала, что рвется водичка, как шарф.

Тот - из детства - один на двоих - он судьбой
обморозился - в льдинках под лодочкой той.
Рвутся стебли и связки - цветочная рать.
Будет каждая ниточка болью пищать -

как младенец пищать... Но люблю и теперь,
когда сердце твое - дермантиновый зверь.
Щель в двери - не приют для прибора, когда
Ты стал он, - и совсем испарилась вода.

Но я снова люблю - даже если Ты - он,
и в тебя Он стреляет в упор, то есть, в сон,
то есть там, где Ты будешь навечно со мной.
Он стреляет в себя. И он тоже есть - мой.

ШЕЛКОВАЯ

Я никогда не плачу при чужих!
Я не присутствую в чужом пространстве...
Я вам представлю голос, жест и стих,
Стыдливость на зардевшемся румянце.
И поцелуй, и мысль, и в трепете ресниц
Оставлю неразгаданную тайну.
Я никогда не плачу при чужих! -
Особенно, когда по вертикальной!
Я не рискну! Не затуманю глаз.
И вниз не посмотрю на дно воронки:
Там боли сжатый рот... А то, что я при вас
Когда-то плакала так искренне, так горько...
И вдруг заулыбалась, как цветок,
Как бабочка по лепесткам пархая, -
Он шелковый, я шелковая, - ох,
Как мало знала я, как мало знали
Вы обо мне. Не рву своих рубаш
Я на груди, где холодно и чуждо.
И если вашего тепла не чувствую внутри,
Извне мне плакать ни к чему. Не нужно.

Я никогда не плачу при чужих.
Ах, как же вы не догадались?
Осталась я. И вы остались.
Как хочется, чтоб, все-таки, в живых!

Я ХОТЕЛА

На земле умирают люди.
И цветы. Но тебя нагадав
в этой млечно-извечной простуде,
в свечно-сыпной, шальная звезда,
я решилась с тобой на землю,
светлым лбом прижимаясь к груди.
Пусть с тобою нас боги рассудят,
почему ты не смог донести.
Почему до земли долетела
только нервная дрожь луча.
Только нервы, нервы без тела
и стальной рассудок меча.
Почему мне земное сознание
здесь свивает стебли, как жгут.
На предплечьи. И сердце тянет.
И сирень на носилках несут.
Может быть, в парнике вселенной
слишком долго одна цвела.
Я хотела сделаться тленной.
Я хотела с тобой. Дотла.

ПТИЦА

Мне хочется пронестись над городом,
как хищная птица,
приземлится на пустыре,
но в когтях удержат простор.
Поэзия - хищное вещество,
разъедающее быт. Удивиться -
значит выклевать из суеты - метафору -
и положить на стол.

По крупице на мусорке снов
собирать заданья
для философии духа,
раскапывать идейный хлам.
Мысли еще горьки, когда, как из семечек,
из подсознания
их выхолащиваешь,
разбивая клювом напополам.

Тебе половина зернышка, -
достойное Небо и Звезды,
и тебе, Город,
съежившийся под тенями куполов.
А что есть общего между корой на дереве
и подкоркой мозга
знает только природа,
включая почесывание голов.

Чистое небо над счастливою грязью улиц.
Хищная птица поэзия -
для своих голодных птенцов

выхватывает сердцевину из летящей по небу пули.
Это в поэта - каноном -
прицелилась мудрость отцов.

Ну а ты, осоловелая,
летаешь без всякого направления.
Собирайся с мыслями,
общественный знаменатель учтя!
Я не знаю, бывает ли у хищной птицы -
предрассветное пенье.
Но я видела, как летела за ней по небу
пурпурная мантия,
и, цепляясь за город,
свешивалась с его плеча.

СИНИЦА

1.

Эта старая синица
так боится соловья.
У синицы есть водица,
есть гнездо и есть семья.

Только по ночам ей снится,
как в сиреновом бреду
перестало сердце биться
у соловушки в саду.

2.

Я не знаю, как же мне избавиться...
Я не знаю, как же мне отбиться...

Я направо: там твое предательство.
А налево: ты - моя синица.

Я могу любить тебя за пазухой,
только если станет вдруг утробой
сердце девочки и встанет вечной паузой -
за-дыханием у твоего порога.

Я могу любить тобою только,
заполняя в клеточку тетрадь
тела... и стиха... но только сколько
я смогу еще себя терять

в этом наполнении отравой
умершей любви твоей? Токсины
бродят в жилах... и играют гаммы.
И синиц гнездят на плачущих осинах.

3. Преображения

Тебя я держала крепко,
синичка - в углубке сердца,
пока не услышала всплески,
пока не увидела крылья,
шумливые крылья лиха...
летающего журавля...

Ну вот... и еще рождение -
Глазами - другому - тверди
синицей - распластанной небом,
канвою, - бескрайним светом...
в почти остановке мысли,
в биении бесчувственной сини,

в страдательном созерцании
так ласково шелково ясном,
в немислимо безмятежном -
в ином уже - смехом света -
лучащимся - голубом...
Но сердце -
 куда вернется?
Но сердце -
 верни, синица! -
что в первом клубке испуга,
(он был так шершав и жалок).
И алую капельку боли.
В ней - радость от ран рожденья.
И ране - глазенье в небо,
пустое - в одних вопросах.
В нем память единоличья.
В нем светоч тебя в личинке.
В нем сольность моя человечья.
Соленость моей печали...

Верни одну капельку плоти,
оставшейся от обрезанья
небес, заштрихованных - синим,
положенных плацем под крылья...

любить журавля - не небу,
а горлу, где красным бьется,
синичкино малое сердце,
вернувшееся из странствий
с небесной волны безмятежья,
в натяжке - ему параллельной,
в упряжке земных поселений.

КОЛОКОЛЬЧИК

Я вечности уже хлебнула -
Такой душистый горестный глоток.
Наполненный подземным гулом,
Ввысь тянется серебряный росток.
Не остановишь сырые мгновенья
Сердечной смуты. И цветенье - тоже тлен.
Но не кончается одно - его движенье.
И дольше века длится первый день.
Сжигает время все - огонь и порох.
И лишь росток неуловим в плену.
И возится с цветком его ребенок.
В огне. Но колокольчик и в аду
Дрожит от стужи, синь и не разгадан.
Он - купол неба, вскормленный звездой.
Глазастая, звенящая засада
Из воздуха - младенческий разбой.
Граненье в складки хрусталей слезы и доли.
Он - колыбель бессмертия весны.
Он соловей разбойник в чистом поле.
Любовь моя - все это ты, лишь ты.

ЛАНДЫШ

Я новая звезда и не исчезну
без фейерверка с горизонта твоего,
лишь точкой голубою удаляясь
в небытие - я новая звезда.
Я фейерверк, я сон цветной и яркий,
пригрезившийся днем головке детской,
головке ландыша, как в чашечке фарфора,
цветущей тихо у ручья с живой водичкой -
цветок - звезда во сне его... Любовь моя,

ты - сон того цветка, и вот звездой взрываясь,
я думаю, как выживет тот ландыш:
взорвет ему головку и замутит
ручей живой, иль хуже - будет спать,
он грезя вечно о космической дыре.
Любовь моя - ты ландыша безумьем,
ты космосом в фарфоровой головке
порождена была, и вот взорвавшись, стала
дырою черною - о, боже мой, как хрупок
был ландыш тот, и как мелка водичка...

ДОЖДЬ 2

Каплет водицей господь
в полости каменных ниш.
Самоубийцей дождь
срывается с ржавых крыш.

Птицу пускает господь
в небо: лети - летишь...
Самоубийцею дождь
вниз головою с крыш...

Кружево тучу ткет,
ткет дождевой витраж.
Вот летит самолет,
вот на восьмой этаж

он влетает в окно -
так начинается дрожь -
будет на всех вино -
позже зачем поймешь,

позже поймешь за что
дрожь, самолет, стекло,
и кто выжил, и что
в дребезги разнесло...

Мне то не привыкать:
я ж здесь живу давно -
падать и восставать,
и что стекло - вино.

Я ж так давно живу,
что посинела рука,
дождь на руках несу -
ноша моя легка.

Только его, как бомжа,
тянет в божбу и ниц.
Я же ему вяжу
сон на спицах ресниц:

долгий-предолгий сон -
шелковый черный футляр,
вниз головою звон,
мокрых асфальтов пар.

Так для самоубийц
бог посылает покой.
Дождь отстраненных лиц.
Улица - мне домой.

ВЕРНОСТЬ РОЗЫ

В чем верность розы,
если не в шипах -
сцеплений с временным,
не в горловой ж угрозе,
- меня не тронь.
Там - в сердцевине - взмах
крылатости и верность непогоде,
заснувшей на мгновенье.
И хранится.
Там - голубая роза алой снится.

СКВОРЧОНОК

Боль скворчком стучится в груди.
Это все, что осталось: ты -
боль-скворчонок. И я - грудь.
Так закончилась эта жуть
желтоглазой измены-звезды.
Боль - скворчонок на вдохе - ты.
Тупо-тупо и так глубоко.
Скоро-скоро мне станет легко.
Невесомо-скворцово-без звука:
ни словца - ни грудного стука.

СНЫ

1.

Лепестки шиповника на снегу
Откуда они взялись?
Странная пища для воробья...

.....

Такой стала моя любовь...

.....

.....

а вам только воробья и видно.

2.

Когда думаешь о темнице,
всегда вспоминаешь о розе.
Из какой это сказки?

Мне не надо ни смысла, ни памяти -
только хруст серебра в лесу,
только в тихой змеиной заводи
утопить тех ночей бирюзу.
И смотреть, как синюю веточку
обволакивают слизняки.
Это хрупкие жилки ленточкой
обвивают мои виски.
Это старость моя, наверное,
тихо плавает здесь в глубине.
И кристалликом небо первое
умирает в болотном огне.

Года и толпы - однозначно - лечат.
Под крестиком метлы - листок подобен звону.
Стрелюю глаз лицо в толпе отмечу
и бережно его я донесу до дому.

Я землей была.
Потом открылись воды.
Первая любовь огни зажгла.
А тебя на крыльях непогоды
ласточка к дверям мне принесла.

И на клетот той ночной тревоги
приоткрылась дверь и воздуха струя
ах, свежа была, - да якоря глубоки.
Муж да дети: так глубоки якоря.

И хоть слышу - бьется ласточка в просвете.
Вижу в щелку - в сетях у дождя.
Чем же на сыром пороге, Ветер,
мой глоток воды помилует тебя?

ЗВЕЗДА И РОЗА

Однажды на небосклоне
созрела звезда
ослепительной чистоты
и пролила свои драгоценные искры
в сердце,
где живет безымянное время.

Поэтому небо
теперь никогда не сумеет стать
ни плотью горячей розы,
ни мной.

ВЕТЕР

Трудно, трудно быть ветром.
Тугая плоская пыль
Расправляет свои капуцины
Пустые крылья
И танцует в нем,
Воображая себя
Оживающим временем.
Люди подставляют ему свои зажмуренные
Приклеенные лица
И думают о горизонтах
Небытия.
Обрывки газет устраивают
Рабочие демонстрации
В воздухе
И вычерчивают иероглифы тщеты
И распада...
И они - выцветают...

- а птицы? -
Ты скажешь.

- а птицы?

Но я не знаю, любят ли птицы ветер.
Помню - его любили плечи и
грудь одного подростка

В 10 вечера,
На темной, маленькой улице
Провинциального городишки.
Но тогда так же шел дождь.

Зачем мне все это? -
Наверное, беспокоится ветер,
Облизывая сухие губы.
Ведь никто не спросит меня
Кто я,
Откуда я появился и куда исчезну?
Да он и сам ничего не знает об этом.
Трудно, когда в твоём сердце
Поселится ветер.
Зачем мне все это?

ВКУС ВИШНИ

Девочка в саду на качелях -
Звезды - потные вишни
в холодном ночном небе
над трудным желтком окна -
летом - на даче.

Как пусто в космосе детства...

Девочка - выше - выше ...
я прошу твои звезды, прошу твои вишни,
твоих грустных предков
в желтом окне столетий,
кои канули в лету -

Выше!!!

Выше! - пока качели еще не задели
твоей сущности женщины,
пока еще не перезрела звезда,
пока еще не замолчали навеки предки,
пока неподвижно не застыли сами качели,
запутавшись в титрах
немого кино твоей памяти -

Выше!!!

Пожалуйста - ну, хотя бы еще один,
последний разочек, -
и я уже никогда не попрошу
тебя ни о чем.

Как пусто в космосе.

Вкус вишни.

ТЕТРАДКА

Шрифтом - горошины памяти
в карточном переплете.
Маленькой жизни - вмятины
с названием перелетным.

В клеточную тетрадку
из маяты - мячик
катится. - Станешь садом? -
Птица в тетрадке плачет,
все - о последней из точек
под крючочком, о смерти...
На последнем листочке
ластиком ласточку смертьте.

ИЗ ЦИКЛА В ДРУГОМ МИРЕ

Мы когда-нибудь встретимся вновь -
но уже в другом мире,
Где другая женщина заглянет в глаза
другому мужчине.
Где никто никогда не узнает
в их торжественных праздничных залах,
Как мучительно долго, как страшно
меня от тебя отрывало.
Как одна я брела
по долине всех бывших смертей,
Чтобы в будущем взгляд мой
достался сияющим - Ей.

Любви моей любая ткань была мала,
а даль близка, и горе - в горле трель.
Но все-таки за ручку привела
и указала мне на запертую дверь.
До скважины ключом не дотянув,
я поняла - беспомощен мой дух.
И стих мой - нем. За дверью взаперти,
как не услышать было тихое - прости,
того, кому любовь моя мала.
У Господа под дверью я ждала.

БЕЗДОМНЫЕ

Никогда не подбирайте
бездомные звезды
в проходных вселенной.
И не прячьте за пазуху.
И не выставляйте им молоко
на блюдечке в вашей прихожей.
И не позволяйте им спать
в вашей постели.
И не читайте им на ночь сказки.
Как бы вы не гладили
и не любили
их колющее звездное тельце,
оно все равно
будут долго и мучительно
умирать в вашем сердце.
Иногда это может занять
целую вечность.

КОНТЕКСТ

Может быть, ты - просто контекст
для протеста моего одиночества.
Может быть, и вовсе тебя нет
и не права была боль пророчествующая.
Может быть, в мои пристальные зеркала
залетел ты случайным лучиком.
Может быть, за занавеской лица
нет того, чтобы так безнадежно мучилась
эта женщина, которая может быть вовсе не я,
и какой-то другой все снится,
как в потоке текущего вниз Бытия

две души, два обрывка единой страницы
все еще обнажено открыты друг другу
в свободном полете,
по горящему звездному кругу
в ночном небосводе,
в переключке - отлетают все дале и дале -
с рассветом теряется связь.
Поутру эту разницу в строках, и звуках, и сроках
уже не снести, не свести, ни принять, ни понять.
Две души - осужденных неведомо кем,
- ах, неужто же Господом Богом? -
но при свете - на разные судьбы и лица
в этом ложном оптическом мире.
Да и как же иначе чужими,
здесь могли мы случиться?

КАЖДЫЕ ПЯТЬ МИНУТ

Каждые пять минут
ты умираешь у меня на руках.
Нет ничего безысходней,
чем укачивать на груди
память о нерождённом ребенке.
Мои руки опухли и отяжелели
от этой остывшей вселенной,
но я не могу их разжать,
потому что все еще слышно,
как она плачет.
Каждые пять минут
ты снова умираешь у меня на руках.

В ПРОСТРАНСТВЕ ДЕРЕВА

Я засекаю время, как мальчика в конюшне,
за скуки грех в изломе ночного равнодушья.
Я в примесь одичанья войду широкой плетью.
Ведь мы уже не дети. Уже с тобой не дети.
И если ни плечом ты, ни музыкой, ни сердцем
меня не прикрываешь от сумрака и смерти,
то я согласна ширью пролиться в пустоту,
и я согласна топью идти одна по льду...
Но, как канатоходцу - мне надо знать, где точка
вокруг которой танец пульсирует, как почка.
И если одиночка. И если без подсветки.
Я время засекаю... Пульсирую, как в сетке
секунд, минут, событий - порукой и тоской.
Скажи, зачем вне тела я связана с тобой?

Как просто хлопнуть дверью, когда в наличьи дверь.
Но дерево-сознание. Но веточка-елей.
Но яблочки с кислинкой за тем столом, что не
салятся по-семейному... в стеклянной пустоте.

Я засекаю время?... Смешно - куда уйти
от этого безверья души в конце пути?
От этого пространства, где бродят без судьбы
в интерактивном танце твои-мои черты.

На времени засечка. По дереву. На краю
Вот так тебя я мучаю. Вот так тебя люблю:
живым - в пространстве дерева. Что режу - в сок.
Прости меня. Поверь в меня.
Последний мой листок.

ЛИНИЯ СУДЬБЫ

Чуть слышной строчки тонкий голосок.
Я вас люблю... Я вас любила,
как гром, как воздуха последнего глоток,
как в пропасть тяготеющая сила.
Да, можно больше жизни полюбить
лишь то - что никогда не станет жизнью.
Я вас люблю - как тонок, как безлик,
как он уже не связан мыслью,
сей голосок - как линия судьбы,
что год за годом истончает время
не с тыльной стороны ладони. Кабы вы
иль кабы я, неважно чье там имя
долбишь вопросами о смысле и судьбе...
Но у богов и родничок и темя -
все заросло! Вот только та ладонь,
тот голосок, воздушности той бремя!
Я вас люблю - не с тыльной стороны
моей ладони. - У любви нет тыла.
Я вас люблю - не слышно, как в песок...
Уже самой не слышно. Слышно - было.

ЦЕЛЮЮ

Я целую тебя в глаза,
дом мой, счастье мое,
моя печаль.
Я целую тебя в уста,
горе мое, радость моя,
невзначай
в душу целую тебя,
с плачем волосы расстелив
у твоих ног.

И отнимутся у меня за то
и небо и дом,
потому как зол
и извечно ревнив,
и так любит меня
мой бог.

БОЛЬ

Знакомой не бывает боль.
Не до зеркал ей, коль кричит вдогонку.
Когда кричит, то рот ее - как ноль.
А не как имя первого ребенка.
И хочется не плакать - бить и выть.

И только, может, всхлип даст в боли сбой.
И передых. И путь на миг окольный.
И память выплеснет - как я могла забыть!
Как я могла забыть, как это больно!

АДРЕСАТ

Я стихи теперь стану слать тебе
заказным письмом.
Распишись внизу,
чтобы знала точно, что получил.
По ступеням поднявшись
в заброшенный с виду дом,
чтобы в руки тебе
почтальон его прямо вручил.

С почтальоном этим мое ожиданье к тебе постучит.
Приведеньем забродит память в прихожей на миг.
Мне покажется, кто-то за дверью на кухне сидит.
Мне покажется - это мой мною забытый двойник.

Адресат давно проживает уже не здесь -
мне ответит мебель в чехлах, из щербатых ваз
засыхающие прошелестят цветы. Не успев осесть,
пыль на стеклах разводит узоры. И медный таз

загрузился застойной водой и прокисло винцо.
В рюмке плавает муха вверх пузом.
Хозяина нет. О чем
даже зеркало твое говорит
и уже не смотрит в лицо,
а скорее в стенку, что торчит за моим плечом.

Лишь сетчатка его - задержала твои глаза
или нет - из всего, что так важно -
лишь их голубую печаль,
в амальгаме - там, где у памяти самое-самое дно.
Но назад не вернуть. Да и мне -
не губить тобой спитый, простылый чай.

ВАХТЕР ОСЕНИ

Плеск грез не срифмовать, пожалуй, в суть.
Виски - в полынь стирать. И глад и тяжесть
в ступе пустынь - толочь. Но перетяжки пряжи,
что мойры нам плетут, не обогнуть
ни проводом, ни лепестком, - не облететь.
Мы чуем провод, лепесток, - но видим сеть,

в кой бестолково мы членим судьбу на спор
меж сроком горя и несмелой благодати
цветочной нежности, - в застиранном халате,
голубоватом, осени вахтер
торчит, сопя, все перед тем же небом,
в асфальт для верности вжимая свой носок
сырого башмака, к нему прилип листок.
И по-сыновьи льнет Эфир к стопам Эреба.

У всех, у всех уже за окнами декабрь
снегов и льдов, семги и пересудов,
и в дыме сигаретном, как в сосуде,
и я стараюсь обернуться вспять
и выпасть, как из марева, из лета
сиреневой мечты: забытого альянса
пустой скамейки, немоты, и света:
мечты и мары для рояльного пространства.

Воскреснуть в зиму, потянувшись за чайком,
замерзнуть утром, подтянуться, в сухожилиях
не механическим китайским соловьем
чтоб время мне пропело о насильи
над розою ветров в колодце пустоты
учиненном вневременьем, покуда
я чайник кипячу, из утренней звезды
мне яблочко снегирь печет и Будда
мне покачает головой не с высоты,
а хрупкою фарфоровой игрушкой
на полочке под зеркалом, а ты
мне в пух и прах затеешь бой в подушки...

И задохнувшись - в бытие - как в тела лед...
вдруг... в хлопке голубого покрывала
крыло прорежется чуть видимо плечом...
Взлетит... обрушится снегами. Валом
Зима наступит. И откроет судеб счет.

ВИЙ - АМУР

Что человек находит в человеке?
Где линии судьбы пересеклись?
Сезон вопросов приподнимет веки,
как занавес... Да, Вий - но улыбнись.
В водянке суеты, раздув животик
катилась жизнь, но вот из шарика амур
вдруг выглянул. Был любопытен. И в итоге
лица не разглядев, не видел ноги,
в чертах неуловимых он
заметил тонкий поворот любимых рук,-
скорее, в растворении пространств...
И жест объял. И вширь и вглубь. И вот те раз,
он космосу продиктовал наш курс.
Какая нота отвечает за потоп?
Какой побег - за Ноеву голубку?
Рулеткой меряют усопших. Тру свой лоб.
Он все еще горяч. И незабудка
торчит в углах твоих пушистых губ.

ВСЯКА ЗНАКА СУТЬ

Я знала - свет стремится к темноте.
И темнота, - раскрыв ему ладони, -
его объемлет, и объятья те
вмиг наполняются христовою любовью.

Я знала правило. И всяка знака - суть.
И инь и янь, и на кресте - Господь.
Но теологии не ведом плач и жуть:
объятья света - разрезающего плоть.

Из темноты свет болью достает
все - что потом любовью назовет.

В объятиях сильного Неба
Сила моя - слабость.
Сила моя - во мраке
Видеть -
Связи и завязь -
Тоненьких нитей сеченье,
Звездную хирургию,
Рук Леонардо - свеченье
В путаницах и летаргиях.
Нежно держу - в теле
Птичьи когти Парки.
Ножницы чутких пальцев
Звездные режут стяги.
Режут те стяги - на марлю
(в ранах - моя - радость)
Эту звездную паклю
Я променяю на память.
Я променяю на нитки,

На мулине винограда,
Гроздь - в усах улитки.
Красным сердечком - градом,
Телом - прольется - лавой.
Будет вино - гостю!
Детям - вина - забава.
Дыры латать - после!
Дыры от звезд - красным
(Вспомни - о дикой розе!
Встречу - в сердце Дамаска...)
Дыры латать - после!

Липла, как кровь - к Эребу.
В силе моих виршей
Пре-одоление неба
Там - где землей - дышит.

ПРОБУЖДЕНИЕ

Знаешь, под солнцем всегда
первыми
искры от льда просыпаются,
пар из ноздри у лошадки,
мокрая варежка в левом кармане,
ладонь...

Растрескавшаяся земля
жаждет
поцеловать ручей.
Ручей же
ищет соленых губ
великого моря.

В горизонтальности прохлады
ласкать пространства гладью взгляда.
Аллея осенних желтый шелк
и влажный клекот голубиный.
Вдруг ветер.
Скоростью листа -
леса сквозные.

Моцарт.
Зеленый сквозняк.
И все окна распахнуты в солнце.

СОЛНЫШКО

Нет ничего отчаянней
яростного одиночества
источника света.
Плачет - теплом...

Сжимает город
пальцами улиц мокрых
площадной гроыхающий грош.
Даждь дождь дрожь
этой ночи ладоням!

М.Ц.

Каменное бессилие
замурованной живьем любви.
Кто измерит?
Путь матери
к сердцу смертельно больного ребенка.

БОГ

Испечь хлеб из ничего
и отдать голодному
может только женщина.
Бог не был рожден
женщиной на земле -
там, где ее
всегда делали -
богом.
К сожалению, смертным.

ПАМЯТЬ

Твои птицы молчат.
Только шорох иглы патефона
И мертвые иглы от елки.
Как прекрасен сей сад тишины!
Как в Елабуге - тихо и горько.

Ты мне - ад. Ты мне - голь
Чувств - вырванных из тебя
Мной... Вскрытие каждой раны
до тебя судьбой -
нанесенной.
Ты - верни мне - меня,
то есть мою смерть,
в которой было уже не больно.

Поэзия -
последний прозрачный покров
позора рая.

ВОПРОС

Почему у всех вечных истин
такое короткое воплощение?

А любовь все длится, длится...
И чувства уже исчезли, и краски,
и горе...
И вот она уже стала воздухом, горизонтом...
А кто замечает воздух?

Господи, я всего лишь снежинка
на твоих теплых ресницах.

DEATH

dedicated to Aashish Thakur

if death is a crook with a white face,
i will shield you from her
i will put on a black mask
and i'll scare her off
but what if death
is a sad child
with the silky net
into which
patches of colorful butterflies
have flown in by chance
carried by the north wind
what should i do then...
what should i do with her joy?
what should i do
if there is no net broad enough
for the wind?

TASTE OF CHERRIES

a girl on a swing in an orchard
stars cherries in sweat
on a cold night sky
above a yolk window
of a summer house
how empty is the cosmos of childhood

higher, higher, higher - a little girl

i am begging your stars your cherries
your sad ancestors in a yellow window
of the centuries passed

higher!!!

higher!!! - till your swing reaches
your womanhood
until the star gets overripe
until the ancestors fall silent forever
until the swing stays suspended
l in a slow unraveling
of your memory

please just a little bit higher
just one more time
and i won't ask you again

how empty is cosmos

taste of cherries

ELEPHANTS AND GRASSHOPPERS

if you want i will tuck you in bed
and i will give you warm milk in a clay mug
smell the grass of the far away meadows
where elephants roam free with grasshoppers
in a tall grass of my land
growing medicine for your cold

and while you are sleeping
i will sit in the corner
growing huge wings

of a black bird - so black - so black
but if you wake up
in the middle of the night
you should be not scared
they are just the shadows
of my past
the shadows of black wings

SNAILS AND BLUE BIRDS

Charles Bukowski once said-“ you should not write poems
If you want women in your bed”

Charles Bukowski once said-“ you should not write
poems, If you want women in your bed.”

Dear Mr. Bukowski:
if you had been writing poems
like a whispering hissing light,
you would have had
the most beautiful women in your bed
along with a long needed revolution in our bed.
And you would have never had to pay
even for a prostitute
or the she-star-poet of sorts
for she would have been like a child
voluntarily
kissing your bluish veined cheek
pinned by your elbow
to the cracked table of age...
swinging in the smoke of thoughts,
the apparition of woman

rustling the lines on your palms
in your ancient books,
the yellowish butterflies, the signs,
the whispering letters of your sad aerial labor
would have flown like the lace of her lingerie
like the tablecloth ruffles,
like the shadows from the dim light of a lantern -
the autumn decor in our vomited bar of existence.

And she would have stripped.
She would have stripped you
to the bottom of your desire
for her shady countenance
for the enigma of a dark tongue
for the locks on the bookish flesh
covered with sweat drops of an ineffable longing
for the knowledge which would have reached
to the bottom of innocence
of the goldie locks
of the Beloved.

Dear Mr. Bukowski:
If you had been writing your poems
like a whispering breeze,
flying your blind fingers
over the bulging letters of her ancient mythical rhythms
each of your lines would have had broken
the boundaries between a man and a woman.

You - would have dissolved all her strongholds -
the bars on the bed heads
to which women customarely cling with their fists
during childbirth,

their caved labor of anger and love,
you would have untied
the knots of her stubborn, dark brows
and broke the spears of lashes,
which had been hiding the silvery core of her pencils
her pupils drowning in the sparkling darkness of eyes,
the steel of her eyes,
melting blending obliterating defences
into her longing for bliss,
her longing -
for the cages that would have set free all of her birds,
for the cells cleansed of her animal fat by your breezes,
for the veins on her wrists
cut by the blue crystal of skies.
for the music of your airy touches.

And the music, the music - the gentlest music of yours.

It would have fanned out
the roughness of her childish goosebumps
which her fear pops up as she clings
to the lonely cold silk of her dreams,
it would have dusted off
the white sheepish skin of the female
cleansed clean by the mellow melody
from the rust of the iron aged blood.

And there she would have been
strung up on the laundry hanger
beneath the window sill
on the ninth floor of a modern building
swaying like the whisper of everything
that could fly on the wings of the heavenly breezes.

Even the locked doors of the cages for blue birds
can fly in the waste of the skies
above the pink fog steaming up
from our red shredded soil -
the soil of her deeds and desires.

Dear Mr. Bukowski:
She would have never been able to explain
or understand you at all -
in this case.
She would not have had to.
She would have just been touching your line after line
like miraculous relics
breathing your whispers
in and out
in and out
until one day she would have discovered
that there is no air left for a breeze or a wisper
and - she - would have started to suffocate
from the screams that you've never uttered...
never let her
into the pitch of your secret prison of screams...
the screams...
the residue that one leaves
on the wake of departure from prison
the scream... that you would had hidden from her
in your generous silence...
no screams and for so long - so long - so long,
as to leave her with all of her boundaries broken...
the cages... the bars...
and the stubbornly knitted eyebrows...
the shells that would have been crashed

the shuttering eyes
the shreds of a jelly fish... crying, and crying
and weeping them out like the wounded placentas -
in the souls of the snails -
they would have been leaking and leaking
into the gentlest waves of the sand

over sea by the whispering breeze...

over the sea

no time would have been left
for understanding your scream...

Dear Mr. Bukowski, if you had just been... writting
into your poems the wisper of breezes...
the hissing of light
you would had have the most beautiful women...
in your bed.

Dear Mr. Bukowski: ...if you would have just been...

SUNSPOT... ACCATTONI... PASOLINI

“Please find for me a sunspot in this cemetery...”
His ultimate - and the only - prayer -
in his life long beseeching of mute,
The prisoner with the poisoners dust of his dreaming
settling the time.
The unspoken desire... for innocence...
as the value of watch, which he had pawned
in lieu off the prostitute.
The value of innocence
he has pawned for habit...
The Time he has pawned

for dream.

And the Dream:

the landscape of the love story

the poverty cover of Land

the entitlement - title's

"The Purity and the Pimp..."

The love story...

Under the cover of girl's festive dress

which was bought by the grayish of all the daydreamers -

the pimp.

The pimp, the dreamer - fighting his fate

on the permanent brink of despair,

on the rails of the bridge,

walking

with the pictures of death punctuating his path -

the photography transparent

with his senseless six-sense of foreboding,

as he dreams of the funerals - slant on the road

the processions, glued to the road,

the senseless vector of death -

glued to the road...

and it swings, it forebodes -

spreading his feet for the balance of vision -

glued to the road...

the stupidity of the vision - the six-sense of the fool.

The fool!!! - he has finally dreamed up

his own witness to death...

he has conjured not the god of the vengeance,

but the kindest of the gravediggers -

the simpleton... shoveling soil from the grave

into the bird-view of land...

and they bargain, -

i guess it's the custom

among the sellers and buyers of mercy,
and they bargain -
the sun and the death
for - why not?
why not after all?
- the grave under the sunspot...
for a young - slightly confused - nice-looking man
like yourself -
Why then not?

Oh, the sly laboring innocence of the gods:
the smile and the back of the gravedigger... the death...
the mortal time suffocating in the clutches of sand,
the swing of the laces - the trembling innocent dust,
the dust of the funeral flowers - and the purity -
the death attire of purity - that has finally been attained!

But awake!
... sit on the life's curb...
chat with the friends...
wait! - wait till the death,
the real death will occur. As it always does...
The real accident? - The real accident - it will happen...
as it always does...
in a chasing of roaring cars, motorcycles, and trains...
in the chasing after unknown salvation...
in the chasing for the oblivion -
it will come... will occur
in the crashing of flesh -
the escape
the final vision of friends
caught and chained...
as life goes on
on the other side of the screen...

ACCATTONI... and PASOLINI

PETERSBURG

Petersburg i do not want to die yet
Osip Mandelshtam

digging up ghosts doesn't equal the rebirth of Christ
my friend told me
and i remained silent
i listened to the murmur of my old city
the prayers on its lips burned
by autumn, its tears of spring gray
the muffled big sighs of its greenish fogs
the suspense before the ovation of snow
in its wintry theaters
its spider cracks
on the stairs of beautiful palaces
and how iron rings through the fences
of its summer garden
the laced stones are still soaked by rains
sob above disembodied steps
on the straightforward pavements
of my old city
the melody is still being spilled
through the window
by someone invisible
as it disappears into a black shadow
of a tree - into the well of the dirty courtyards
the ghosts of the poets tormented to death
hide on marble benches for a friendly conversation
with each other
and then back to wandering around the city
whispering the wind brushing their autumn
burned lips their spring gray tears
their prayer which we still have to learn
equals the resurrection of the Word

TO THE POET. MUSIC.

Before you slide up to the very heaven
Along the trembling scared string of violin
Before you weep out the sweetness of cello
And taste the aroma of longing
Before you dance and sparkle in the springs
Consisting of the tiny drops released by flute,
And swim in grand-piano's roar of waterfalls
Or being magnetized reflect its moons in silence
Before the orchestra has started to unleash
The oceans upon the concert hall
And even
Before you hear bits of ancient drums
That circulate the blood of your desire
Live!
Sink in the mud of day
In the messy resolutions
Sloppy performances
And stupor
Of feeling deed and thought
Have a cup of bitter coffee
In the morning, count money
Cry over broken dish
Eat a cold dinner, go shopping
Exhaust yourself by worries
Over nothing -

And realize and feel and touch
Your soul at night and how cracked
How textured it has become
How ready...

You plough it... Then... The wind...
Will come...

STOOL

dedicated to Marina Tsvetaeva and the rest of ...

when i was a child
my parents lifted me
on a kitchen stool
to read poetry
for sentimental
family friends

now
i climb the stool
myself

and write poetry
for sentimental passers by
who drop in
to sit out in the rain
in the pit or in the gallery
of my home
drama theater

someday i will
kick
the stool
from under my feet
and suffocate
in the loop
of blue lips
for the sake
of the sentimental God

since the blue lips
are as beautiful as

the creation
of the stars
on the other hand
since there is no
time

the loop hangs above
any stool
in any kitchen
theater
skies

of eternal childhood
this is something that
Mom and Dad did not know

TO THE INNOCENTS OF ALL TIMES

To the Holocaust victims
and the unresolvable argument between
Alesha and Ivan Karamazov

Don't mess with theodicy
in God's creation

We trigger a bullet down the
shooting range isle
and run it through the
heart of the apple
only to eat this fruit
of original sin
for the next day's meal,

while the angels sing Hosanna
for our entertainment.

The mute had been plagued
with silence - not for the sins
he committed - but to unveil
God's glory
who by miracle of love released him
into the flow of speech.

But where was God's love of justice
in the life time of the innocent's silence?

Was it a dusk seeping
through the windows of his office
when he decided to put in the shredder
the happy endings of old fairy tales
while day and night the trains
were carrying children's bows,
violins and dolls to the gates
of Auschwitz

and Ivan Karamazov was returning
his ticket to paradise?

Never mind the reversal of times
when the sky spreads
its innocence
above all and for all -
invisible - save Alesha -
as he spreads his body in prayer
for all-over the earth

which is - as for now - constitutes
the gassed rotten corpses
of lost soul.

To the innocents of all times -
on what would you kneel now
and can the times be reversed
for you?

PIECE OF SILK

i will take a needle and a thread
i will find a peace of silk
it rustles tenderly
i will mend it in seamlessly -
it's red
everyone will like my little poem
no one will ever know
how ugly and crude the scars are.

DREAMS

my beloved my executioner
tell me through how
many galaxies
through how many nights
centuries millenniums
spent in the dimly lit rooms
behind the starry barbed wires
of my dreams
across my working desk
i can't touch you, can't leave
can't run?

CURSIVE

typing my life straight up
on the transparent screen
as black and white drops
under the weight of sad memories
slanting astray

the silky ink tears
sliding on the bright silk
on the rainbow's silence...
my soul's cursive -
it still dances its dance

WINDOW

how do you prefer it, a voyeur,
peering into
other people windows:
to stand on your tiptoes
stretching upward
like a strange bird
that magnetized can't set
on flying away,
to become a plush shadow
of the tree,
prostrating its lace
in veneration
over the rainbow pavement
to cross the wet road
and pressing your back
against the cold wall
biting your lip and

with you feet weakening
out of desire to love
the window's warms -
- this melting sun of night -
the most ordinary round
lasting forever jester
of a hand, woman
setting the dinner table
at the center
of this brilliant universe,
to love
man and woman - forehead
to forehead conspiring against
darkness?

but where you imagine the whispers of
love under a delicate shadow
of a lamp -
it could be a frozen silence
facing each other.

DORA MAAR. PICASSO.

beyond the tables of emotion
the dances of bones
the prisms of brains
the strings of cardboards
and the guts of events

beyond the self-inflicted tortures of
situating a human in the ambiguous cosmos
of things

beyond the graffiti squish of textures
the splashes of flesh
that enthrone a man or a woman
upon inside out of their occurrence in space

beyond the blueprints of horror and death
and the thermometer's scaling
degrees of their hearts or spines
on the curve of longing for
a meaningful gesture

beyond the hidden places of anger
a smile and a tear in the hardness of object

for him she was the only one soul
the spirit transparent in its fixed eye glaring
at pure eternity

she was his eternal vision in its every possible angle
he has pinned by its pupils to the bodily flare
of no escape.

My mirror's flared up.

Dora Maar. Picasso.

LIGHT BLUE

Light blue... i don't listen to it.
I hear it. I hear it always.
It's the opening of the silence
from which I hear.
It is silence.
When I hear its music
I know that the universe sings to me.
When it flows through the lines of my poem
I know that I've brought it home.
When I hear its sound in another soul
I know that I am in love.
When its melody stops
I know that i've died.

The labial of light blue no longer
wets my lips with the waves of the word love,
and how else can my poem kiss you
good night or farewell,
my love,
how many blue lines,
can it still suck in -
out of the blue stars of your eyes -

and when the light of blue
comes to a halt from soul to skin,
how many form the blue wax to coat for death?

In the yellowish fog
the inaudible tinkling of the blue bell-drops
endlessly form the horizon...

Sometimes i call the voice of blue - immortality.

LIFE

Life, it' s unwrapping itself
from the seduction of powerful visions -
drags us along,
turning disasters - routine.
Lack of dimensions?
The belated provisions seizures...
Look! We forgot
how blue and transparent this spring.

Listen! The pacing of steps
on the path that is stony,
roundly wrapped by the sorriest, wittiest grass.
Look at the turbid reflections
through the pulse of the airy porous glowing.
See - pallid madness transpires.
Conspired by sun - it will last.

THE SOUL OF THE CLOWN. SWAN LAKE

there is nothing more ambiguous
than the soul of the clown
blood is soaked with make up
make up is soaked with blood...
there is neither line nor boarder
to separate what is liquid
in essence
blood, make up
red heart, red clownish nose
bleeding into
a pale poem cut from the white paper
bloody truths, white lies,

life performances
death performances
sharp scissors
cutting off
one real swan feather
from a pillow case
of my dreams
and it still floats in suspense
on the stage of the swan lake
to be utilized for writing this poem

WILD MEADOWS. LOVE UNDEFINED

love defined so
that i can pick
an appropriate drawer
in my chest
in my bedroom,
or otherwise
and close the question
forever by setting
the clock on my wrist
coming on
the appropriate time
trying it on - trying to fit
at the front
of my flattering mirror
friend settled in a chair
with the reflection
of the shiniest polished star
with sharp sides
of the precious stone
or instead

love undefined
living forever
to chase through the wild meadows
what dies the next day
the next day butterfly
that the night fire had burned
the morning daisy victimized
by the impatient child
the afternoon dandelion
that has been aging
and losing its sun-head
turning gray its petals
floating in suspense
in the hot still air of august
each day each day
dying at the sunset
each day each day
rising to chase
the morning
through the wild flower meadow
chasing the only word
at the horizon
of unreachable undefined
you
at the horizon of
love
death
life
are the beautiful meadows
of red poppies
letting me pass sleeping into
you - my eternal mercy of peace

SLEEPWALKING

people die
things die
dreams die

you, the most beautiful, sad thing
i've intuited in space,
you who wants to die
won't die - while
i am sleepwalking to wake up
on the threshold of our meeting,
or - i am just a comical instance
of our physical time...

late for the irrevocable...

angel,
don't scream at me neither whisper the hiss
of your suicidal wings in my ear

i am a life, sleepwalking through me to you.

don't blow it into the lunar shadows of the walls
on the threshold of my dream

in my dream you won't die

MEIN KLEIN SCHTERN

Some sad knights still confuse her pale appearance
with the majesty of the moon...

“mein shtetl vingl, mein klein foigle, mein klei schtern”

The baby screams of a violin
from under the window of her childhood memory,
the tiny bells from under the slides on the Volga planes,
the dull light of the soviet New Year tree star - in the
frozen gardens of Russian winters -

there piercings and sparklings of open colors:

“mein shtetl vingl, mein klein foigle, mein klei schtern”

The snowflake stars singing
on the Saint Petersburg theater squares,
falling through the magical street lanterns,
through the milky way of Russian vowels,
poems discovered
in the rustling gloom of the Russian decadent autumn -

there piercings and sparklings of open colors:

“mein shtetl vingl, mein klein foigle, mein klei schtern”

The needle rays of the grandmother's old rubb broach
worn at the first ball, the first bloody night stand,
the pale numb senseless loss of virginity -

there piercings and sparklings of open colors,
the shadow cries:

“mein shtetl vingl, mein klein foigle, mein klei schtern”

The stars of the milk drops
spilled from the bucket of Tovi the Milkman
on to the book on the night stand of her loneliness,
The Wondering Stars of Sholom Aleichem.
The brooding stars of the ancestral blood
squished from the grapes in each Song of Songs,
the dancing shattering hot ecstasy of the star of David,
the cool showering light of mercy in the Bethlehem Star:
there piercings and sparklings of open colors,
the shadow cries:

“mein shtetl vingl, mein klein foigle, mein klein schtern”

The stars of rosebud bosoms spark the kindest laughter
from under the shiny shoe nails of Charley Chaplin,
the flower flies into the lilac stars
on Chagall Paris paintings, the stars of sweat
transpiring onto the cello bodies of Modigliani nudes,
the blue stars of the souls drowning in their empty eyes:
there piercings and sparklings of open colors,
the shadow cries:

“mein shtetl vingl, mein klein foigle, mein klein schtern”

The empty eyes of the Auschwitz stars: the empty night
stares into the yellow sorrow of the eternal silence,
but there - behind the barbed starry wires of cosmic void
are the piercings and sparklings of open colors,
the shadows cry:

“mein shtetl vingl, mein klein foigle,
mein klein schtern, mein shtetl meidle” *

And then the dawn of despair. The distances stretched through the million light years of cosmic exiles with the chandeliers of florescent darkness in the millions perished souls, with no encounter, as she conspires to break her rays into a few small pieces of colored glass, a kaleidoscope for a dying man to play with -

there piercings and sparklings of open colors,
the mirror shadows cry:

“mein shtetl vingl, mein shtetl meidel,
mein klein foigle, mein klein schtern” -

just a few pieces of a cheep colored glass,
which screech an echo of the died little star -
the simple promise forever
in an ancient Jewish lolling that some knights still
confuse with the majestic sound of the sea waves
caused by a pale moon.

“mein shtetl vingl, mein shtetl meidel,
mein klein foigle, mein klein schtern,”*

the shadows cry.

* translation from Yiddish to English: “mein shtetl vingl, mein klein foigle, mein klein schtern, mein shtetl meidle” - “my shtetl boy, my tiny bird, my tiny star, my shtetl girl”

НА СНЕЖНЫХ ПУТЯХ

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ОТКРЫТКА 7.1.2012

Нет ничего страшнее, когда в разрушенном храме идет снег. Андрей Рублев. Андрей Тарковский.



*Самая долгая нежность -
у глупых снежинок.
Падая, каждая успевает
всем небом сказать -
Я люблю.*

Прежде, чем умереть.

*А на щеке остаются
слезы.*

Уже не твои.

фото 1989г. Преображенская церковь и дом Иосифа Бродского.
Ленинград.

В лоне советско-чеховско-разночинской провинциальной еврейско-интеллигентной семьи Богу меня не учили. Первая моя с Ним, с Богом по имени Христос, встреча состоялась в 1972. Тогда, по прочтении Идиота Достоевского, моей первой взрослой книжки, в сердце спонтанно открылась молитва за - впервые осознанную - неизбежность и всепроникаемость зла в объеме сердца человеческого-мирового. Сердце, увиденное мной - мировое и злое - было слишком огромно, но не менее беспомощно, чем мое, маленькое. Правда, о пресловутом антисемитизме Федора Миха-

лыча, автора книги-откровения, мне, в то время начинавшей воинствовать юдофилке, что, впрочем, длилось недолго, тогда еще было не знамо - не ведомо. Узнано же было тогда и осталось в памяти навсегда - испытанное счастье ответной любви Господней, не воображаемо плотно и светло наполнившей все осязаемое тогда в моем воображении мировое пространство алхимии человеческого зла. Так вот - из Идиота - и родилась моя первая христианская молитва.

Крестилась я, однако, гораздо позже, через 10 лет, уже налетавшись в музыке и особенно в мандельштамовско-скрябинских тучках и облаках его особенного, детского, цвета радости, христианства. Зимой 1982, в Невско-Печорской лавре, в темном отсечном зале, прохороженная вокруг купели священником, дьяконом и ладаном, я по дороге растеряла всех скрябинских ангелов, буйно ликовавших мне в оба уха целых 2 канунных дня, с самого принятия решения креститься. После крещения - к своему полному недоумению - почти оглохла и заболела тяжелющей, долготекущей коричневой ангиной. Крестных у меня, почему-то не было, ухаживать за мной - больной тоже было некому, хотя полраввавшегося тогда в христианство и частенько обитавшего в моей квартирке на Большевиков, Сайгона с удовольствием бы взяло эту миссию на себя. Невская Лавра находилась строго между двух точек моих тогдашних ежедневных блужданий от микрорайонного пустыря с маленькой квартирой бабушки, где жила я, до центра Невского, т.е. между Большевиками и Сайгоном. С Лаврой мне

как-то не везло. Всегда боялась склеповского ее душка и толпы, строгих истеричных старушек, инфекционной больницы по соседству, где навещала отца, но особенно, до тошноты, невлюбила Лавру после того, как праведно и рьяно наголодавшись перед пасхой, в том же 1982, потеряла сознание во время всенощной службы и была подхвачена, спасена, своей еврейской бабушкой-коммунисткой, узнавшей о моей голодовке и для меня незаметно прокрававшейся на службу за своим сумасшедшего ребенком. И все же именно там, рядом с Лаврой, но на открытом пространстве, однажды я была выпущена, впущена, спасена - сильнейшим потоком нежнейшей и мощнейшей благодати Христовой. Тогда, три года спустя крещения, окаменевшая от отчаянья, от одиночества, ввергнутая туда, как казалось, Единственной, пожизненной, мимо пролетевшей, но навсегда задевшей своим крылом Любовью, взгляд мой задержался на молоденьком человечке в тулупе, понуро, крепко перехватив виски, сидящем на ступеньках Лавры в явной позе кающегося мытаря. Мне очень захотелось что-нибудь сделать для него, вернее, - я почувствовала прямую необходимость, и, залезши в свой вечно наполненный тогда всякошней чепухой карман, выудила и протянула ему старую и потрепанную открытку. Оба смущенные: он - со вскинутыми, прснувшимися от какой-то вины глазами, я - с опущенными, ибо жестов не люблю, тем не менее, делаю - и от всей души, не смотря на ехидного чертенка сознания, вечно рисующего ассоциативные живые картинки... Говорить мы

не стали ни о чем... всунув открытку в его руку я просто сбежала... А через три минуты с неба валом, мешаясь с моими слезами пошел снег ***

Мне всегда потом было интересно, какой снег пошел тогда для него...

Ни Лавру, ни православных служб, ни икон - я так и не полюбила. Не полюбила и исповеди, на первой же будучи сочувственно поглаженной по головке по поводу моего еврейства печорским священником, почитавшимся тогда в богоищущих питерских кругах почти святым. Не пришлось как-то моей гордой еврейской головке сие снисходительное православное "милосердие." Зато я всем сердцем полюбила маленькую Преображенскую церковь, когда переехала по соседству в мои коммуналки - сначала на Мойке, потом на Моховой. Полюбила, кажется, за ее круглую голубиную площадь, напоминавшую мне самарский скверик, где я в раннем детстве так любила кормить хлебными крошками серебряных голубей. Церковь эта на углу Пестеля и Литейного, тоже несколько лет была для меня перекрестной. Где-то раз в месяц я отваживалась заглянуть внутрь для тет-а-тет с Господом Богом. Не глядя по сторонам, я всегда сразу направлялась к полускульптурному, почему-то помнящемуся картонным, распятию Христа, одиноко стоявшему в правом углу, в стороне от основной службы. Именно и только там из всех христианских артефактов, перед которыми мне довелось предстать в своей жизни, мне было и спокойно, и хорошо. Этот приблизительно ежемесячный разговор с

Богом, видимо заменявший мне молитву, состоял тогда из одного: что, мол, окрепла я, Господи, и окаменеть у-жже успела... и, значит, готова снова разбиться, о чем и прошу. Даю согласие пострадать для трещин и т.п. После чего уходила, в полной уверенности, что ответ не замедлит. Позже, с рождением детей, мне нравилось там запечатлеваться семейно, - на фоне тогда еще не мемориального дома Бродского, и самой лучшей визуальной точкой было как раз место за цепной оградой с пушечками Преображенской церкви, на которую так удобно было приземлять детские ножки. Именно с этого дома в 1989 году моя младшая сестра срывала листовки разгулявшейся русской Памяти. Мой диссидентский щенячий энтузиазм, с которым я в конце 70-х развешивала листовки на дверях самарского КГБ и заявляла на допросах, что мне закон един - по-евангельски, - успел к концу 80-х отяжелеть от беременностей, и пока сестра соскрябывала липкие черносотенские листовки с дома Бродского, я с вполне животным страхом охранительно обнимала свое третий раз беременное пузо, на случай, если какого-нибудь памятливого о крови христианских младенцев патриота возмутит такое, моей сестрой производимое, ущемление его прав свободной речи и он позарится на младенца моего, еще не рожденного. Становилось ясно, что пахнет тем самым, о котором Пушкин говорил, нет страшнее, и моим полу-кавказским, полу-еврейским детям здесь место навряд...

Последнее воспоминание о России, - ледяной Варшавский Вокзал ноября 1989 и бегущий по

перронному толстому насту снега к отходящему поезду, размахивая адресами незнакомых мне венских и штатовских христиан, мой друг, бывший забубенный пьяница и пятидесятнический пастор - Яша Рубинчик. Яша с 7 детьми оставался, а мы уезжали буквально на последнем поезде этой эмиграционной волны.

В благословенной Италии меня, за скорее случайную конфессию христианства, с новорожденным младенцем, двумя инфантами и влежку больным мужем выперли из еврейской организации помощи беженцам - Хиаса, практически на улицу, вне всякого статуса, без денег и какого-либо гражданства. На все мои отчаянные, почти обезумевшие молитвы Второе Небо с его Снегом в Италии мне не открылось. На улицах Рима невозможно цвели апельсины и лежали бездомные цыгане, а единственная благодать, которую я тогда ощущала, витала облачком над тельцами моих крошечных детей, и зная, что надо спасать их, ночью прижималась к их теплым тельцам на большой ледяной кровати итальянского подвала, сама спасаясь и черпая силы из этой самой хрупкой на свете ангельской благодати.

Днем я уезжала в Рим. Там, в городском муниципалитете мне посоветовали обратиться в Сахнуд и ехать в Израиль, о чем, при наличии мужа мусульманских кровей, конечно, не могло быть и речи. Через неделю, однако, нас подобрал Толстовский Фонд, хотя, как дело устроилось, я помню смутно из-за практически от страха невменяемого, но весьма деятельного

состояния, в котором я тогда пребывала. И вот, таким образом выбравшись из толпы последнего Исхода, почти ею раздавленные, отверженные ее западными покровителями, и все же выжившие в эту переломную неделю добротой и милостью некоторых зрячих, жалевших нас, сумасшедших, отправившихся в путь в никуда с 2 чемоданами и пополняя по дороге 2 малых - третьим, да еще производя исход таким не еврейским манером - без суесящихся вокруг тетя и бабушек, которых по сердечной доброте нам некоторые из Моего Народа успешно пытались заменить. Не могу сейчас вспомнить, но скорее всего, именно милостью наших еврейских инфо-всезнаек мы через неделю оказались в тихой, уютной и переполненной воздухом комнате, мило приветствуемые двумя русскими престарелыми тургеневскими барышнями Толстовского Фонда, дочерьми еще первой - французской эмиграции, никогда в России не бывавшими, но говорившими на чистейшем, прозрачнейшем и спелом бунинском русском, не слыханном, а лишь читанном в советской России... Оставшееся нам перед Америкой время в Италии мы вдруг оказались окружены благодатной несуетливой атмосферой доброты, такта и сердечного служения истинного русского аристократизма. Улучшилось и наше финансовое положение на этом неисповедимом пути, завершившим для нас Европу встречей с живой Памятью о России... ее истинной памятью - доброты языка.

23 года спустя, на православное Рождество, я пишу это строки в полуразвалившемся доме моей

американской мечты. В соседней комнате страдает моей выросший ребенок, которому я очень мало чем могу помочь, а на улице - 15 градусов тепла по Цельсию, единственная мера, которую я так и не научилась чувствовать по Фаренгейту, всегда воспринимая погоду по-русски. Я пишу их, чтобы четче вспомнить и осознать, что, не смотря на годы немоты, одиночества, болезней, разочарований, безработиц, унижений и безумно трудных выживаний в стране моей эмиграции, - я все еще верю в Христа, с которым я говорила, обращаясь к картонной фигурке его распятия, в Идиота, в Скрябина и в маленькую площадь перед Преображенской церковью напротив дома, где когда-то жил мало кому тогда известный великий русский поэт Иосиф Бродский, о чем, конечно не имел и не имеет понятия ни один малый ребенок, кормящий на этой площади серебряных голубей. Верю ли я в слово родина? Не знаю. Но я точно знаю, что верю в снег. Вернее в память о Снеге. Здесь, где его почти никогда нет, он падает совсем с другого, второго неба. И гораздо чаще, чем я того стою.

Поэтому вслед за Рублевым, я всегда добавляю наоборот - “Нет ничего прекраснее, когда в Разрушенном храме идет Снег”.

Всех с Рождеством!!!

УЛИТКИНЫ ШУТКИ

Маргуше посвящается

I

Я как улитка на твоей ладони
Ползу себе сама, куда не зная,
Не ведая, что все к концу приходит,
Как в детстве, я не знаю, что бывает
На свете время - и всему конец
Приходит, как не прячась в слепоту
Скорлупки детства - не спасет от краха,
Что только в ширину твоей ладони
Покуда живо - и конец не за горами
Улитки - в ширину твоей ладони -
А там глаза откроешь и конец.

июнь 2010

II

От чего погибают улитки?
Они гибнут, как древние свитки
С непрочитанными письменами,
Они гибнут в саду под ногами,
Они гибнут от взгляда в упор,
От стыда и от пыли ссор,
Как от сора пожухлой листвы -
Это осень, но без воды
Задыхается от последствий
Ожиданья в рубцах и лезвий
По такому ранимому телу,
Некрасивому липкому белому,
Располосанному сарказмом -
Как газета ч/б, как спазма,
Как проказа, когда кончаются

Слезы в горле, которыми каются.
Как еще погибают улитки? -
От избытка любви в кибитке
Сердца маленького и красного -
И тогда им так кажется классно
На ладони чей-то пикник
На двоих устроить на миг.
Ну и вот уже на ладонь -
В этот розовый счастья огонь
При такой потеплевшей среде
Выползают ползти к звезде
Звонкой радости, - и потому
Попадают они в беду.

Так как звон тот
Совсем не песенка
Из прозрачных хрустальных нот,
А в седеющей звездной плесени,
Превращая живое в месиво,
Скорлупу разбивая в дребезги
И часов отменяя ход,
Жуткой вечности лед поет.

Да, вот так они из скорлупы...
Ну а сами слепы, слепы.

Или нет, они видят все,
Только всем существом и телом,
Не впрямую и так не смело -
Так опасно так видеть все.
Даже смерть свою наперед -
Даже смерть твою наугад.
Скорлупу мне не склеить из нот.
Свет из лампочки во сто ват -

Не божественный уже свет.
И ладонь не горит на свет.

А я музой все то лечу,
Все лечу, все дышу ей рот в рот.
Но уж поздно улитку к врачу.
Умерла - что ж молчишь? - молчу.

август 2010

III

Улитки нет. Но я живу. И мне уже легко.
И не твоя вина, что так я захотела.
Решилась полюбить тебя, как тело
Тепла, из раны сердца моего.

То не твоя вина. Ты мне свою ладонь
Открыл на ширину небес и детства веру.
Там где по правде лишь под корочкой болело,
Поверил, что горит живой огонь.

И он - по вере - радостью детей
Вознесся, и вознес, и устремился выше.
И проливал огни дождей на старенькие крыши.
И крыша ехала у выросших детей.

Улитки нет. Но я тебя люблю.
Теперь тебя, а не ее ранимость.
Отплакался ребенок, выжил, вырос.
И на тебя я больше не свалю
Ни боль свою,
Ни слезок детских сырость.

И обнаружив, что и в твердости набат
Сердечной мышцы жив и может биться,
Когда страдаешь ты, когда тебе не спится,
Когда мы вместе и когда у нас разлад.

Улитки нет. И я люблю тебя.
Люблю тебя теперь совсем иначе:
Не голубую ртутью в душу плача,
Не прилипая некрасиво и плашмя.

А так люблю, что если бог мне даст,
То не беда, коль не заметишь, что мне больно.
Чтоб только грусть твоя, как талая вода,
Текла на дно моих раскрытых глаз.
И пить ее до дна. - И этого довольно.

сентябрь 2010

В ТУМАНЕ МОРЯ ГОЛУБОМ

Я не вижу, где кончается вода.
Знаю - начинается свобода
там, где ты решил ее отдать, -
каждым дуновеньем небосвода.

Полнится святая пустота -
простотой трехлетнего ребенка.
Мне не надо ничего решать,
я отдам, не думая о долге.

Я отдам, что ни попросишь - на - бери:
сердце, горе, радость - без сомнений.
У судьбы моей такие дни -
мне не важно, чем закончится мгновенье.

Мне неважно, кто меня поймет.
Я сама себя не понимаю.
Ту - оставленную, где-то на причале,
одиноким парус подберет.

июнь, 2012

СОДЕРЖЕНИЕ

«МЫ ВЫЙДЕМ НА СУШУ - И ТЬМА УДЛИНИТСЯ» 3

ВВЕДЕНИЕ 4

«И ВРЕМЯ ПРИХОДИТ, КОГДА ТЫ НА КАРТУ» 7

СНЕГА И СИРЕНИ 7

ШУТ ВЫБИРАЕТ САМ 8

ТИФЛИС 9

В ИСКУССТВЕ... MANIFESTO 10

ЗВЕЗДОЧКА - ШТЕРНЭЛЭХ МАЙН 11

МОЕМУ КОРОЛЮ 16

ИСКОРКА 17

«МЕНЯ КАК БУДТО НЕТ» 18

ЖИТИЕ 19

ДО ДНА 20

ДВИЖЕТСЯ МОРЕ 21

МАРИНЕ 23

ИЗ ЦИКЛА ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ПОЭЗИИ

«У ПОЭЗИИ ДНЯ НЕ БЫВАЕТ» 24

ТАК ПИШУТСЯ СТИХИ 24

«И СЛОВО В НАЧАЛЕ БЫЛО» 26

ПОЭТЫ 27

«Я В ДЕТСТВЕ НЕ УМЕЛА РИФМОВАТЬ» 28

«КАК ПАРУС ЭТИ НЕБЕСА» 28

МАРИНЕ И ОСИПУ 29

СЕТЬ 34

ДАНЬ 36

ЦИНЦИНАТУС 37

«УКАЧАЙ МЕНЯ, УКАЧАЙ» 38

НЕ КАСАЯСЬ 39

А. С. ПУШКИНУ 40

ТВОРЧЕСТВО 40

БРДСКОМУ 41

ВРЕМЯ 43

БЛОКУ	44
СТИШОК	45
ПОШЛИ МНЕ, ГОСПОДЬ.....	46
КУЗНЕЧИК МЕТАФОР.....	47
СЛОВО	48
КОМПЬЮТЕР	49
ТРОП.....	50
О КРУЖЕВА БЕССМЫСЛЕННОЙ ОСАННЫ ВЫШИВКА	50
АРСЕНИЮ ТАРКОВСКОМУ	52

ИЗ ЦИКЛА НОТНАЯ ТЕТРАДЬ

ТРУБА.....	54
СКРИПОЧКА	54
«КТО ЖЕ Я? КТО ЖЕ?».....	57
ШОПЕН	57
PIANO CONCERTO NO. 21 MOZART	58
СИРОТСТВО.....	59
«КАКОЙ КОРОТКИЙ ПУТЬ ПЕРЕД СНОМ».....	59
ДИРИЖАБЛЬ	60
ОДИНОЧЕСТВО	61
ГОЛОД	63
«СТРАДАНИЕ, ВЫРВАВШИСЬ ИЗ СКРИПКИ»	64
БЕЛКА	65
КОЛЫБЕЛЬНАЯ В ЯНВАРЕ	66
EN ARANJUEZ CON TU AMOR.....	67
«ЕСЛИ ПЫЛЬ - ЭТО ПЛОТЬ».....	67
КОЛЫБЕЛЬНАЯ БРОДСКОМУ	69
ДОЖДЬ.....	70
ЛАКРИМОЗА	71
ПАРАДОКС ПОЛУПУСТОГО СТАКАНА	73
ДОМОЙ.....	74
ПОПРОБУЙ СКРИПКОЙ МОРЕ ЗАГРЕСТИ	74
ВЕРЬЛЮД	76
ФЛЕЙТА СОЛВЕЙГ. ПЕР ГЮНТ	78
FANTASIE IMPROMPTU	79
КОМПЬЮТЕРНАЯ КЛАВИША	80
КОЛЫБЕЛЬНАЯ ЕВРЕЙСКОЙ СИВИЛЛЫ	80

ПИСЬМО В ПЕСОЧНЫХ ЧАСАХ	82
ФИЛО-ХРОНО-ТОПЧИКИ	84
LUDWIG VAN BEETHOVEN SONATA NO.14	89

ГЕРОИ. ИЗ ЦИКЛА СЦЕНА

СУФЛЕР	90
МЕЛЬПОМЕНА	90
ЭВРИДИКА	93
СЦЕНА	93
«ДУША - ЭТО ТО, ЧТО ОСТАЛОСЬ»	94
ТАБУРЕТКА	95
В ДОЛГ	97
МАГДАЛИНА	98
АЛЫЕ ПАРУСА	98
БАЛЕТНЫЕ АРАБЕСКИ	100
ЛЕБЕДЬ	103
АЛФНА- ОМЕГА	103
ШВЕЯ. БАБУШКЕ.	104
ВЫСОЦКОМУ	105
«ГОРЕ МОЕ, ДОЛГОВЯЗОЕ, ДЛИННОВОЛОСОЕ»	106
В МУЗЕЕ	106
КАНАТОХОДЕЦ	107
ИЗ ПРОСТОЙ ДАТЫ	108
ХРАМ В МЦХЕТЕ	109
ГОРЛЮ... DELETE	111
«ТЫ ВСЕ-ТАКИ ЕСТЬ - ПО-ЧЕШИРСКИ - ОТ УХА ДО УХА»	112
ТАНЕЦ	112
РАКОВИНЫ	113
ДИПТИХ ЗЕРКАЛА (ЛОТОВА ЖЕНА)	114
АКРОБАТИК. MOZART-AGNUS DEI	116
ГАЛАТЕЯ	117
«КАКОЙ НАМ ЦАРСКИЙ ДАН ДИАПАЗОН»	118
СКАТЕРТЬ. ДНЕВНИКИ АНДРЕЯ ТАРКОВСКОГО ..	118
ФАРАОНОВОЙ ДОЧКЕ	120
ТРЕХЛЕТНЯЯ ДУША	121
ТЕОДИЦЕЯ	122

МНЕ 20	123
ЦИФРЫ. НОЛЬ	125
ЛАК БЕССМЕРТИЯ	126
ОГОНЬ.....	128
ГАМЛЕТ ВЕСНОЙ	128
ЛЕТО ЛИРА.....	130
БАЛЕТ КОШКИ.....	132
ЗАПИСКА НА ПОЛЯХ МЕТАМОРФОЗ ОВИДИЯ	134
DELLAMORTE DELLAMORE О СМЕРТИ, О ЛЮБВИ... 136	
«ПРЕКРАСНЫЙ ЖЕСТ - ПРЕКРАСНЫЙ ПОЦЕЛУЙ» ..137	
ВОСХОД	138
В. НАБОКОВУ	138
РУСАЛКА	139
НАБРОСОК.....	141
ГАЛОЧКА	142

ИЗ ЦИКЛА АМЕРИКАНСКАЯ САГА

ДОМ	144
ПОКОЛЕНЬЕ.....	145
ДАТА	146
СЛОВАРНАЯ БАБОЧКА	146
ВЕРОНИКЕ ДОЛИНОЙ.....	147
В ЛОГОВЕ СНА.....	149
ПОМНИШЬ, ЧУВСТВОВАЛОСЬ ВОСКРЕСЕНЬЕ?..... 149	
«ТЫ ПРОЖИЛ, СКОЛЬКО ВЕТЕР СМОГ»	150
КУХАРКА	151
ПРИЧАЛЬНОЕ.....	151
ОПРАВДАНИЕ	152
ОДА РУКАМ.....	153
ПЕСЕНКА.....	154
НА ПЕРЕВАЛАХ СНА	154
ВОКЗАЛ	155
ВОДОЛЕЙ.....	156
ПРИЧУДА.....	156
«ЕЩЕ ОДИН ДЕНЬ - НЕ МОЙ!»	157
КОМАНДИРОВКА	158
ДЕВОЧКА	159
УСТАЛА	160

У ЗАЛИВА ОТВЕСНЫХ СНОВ.....	161
«ЖИЗНЬ-МАЛЫШКА».....	162
ХОЛОДНО.....	163
НЕ ПЫТАЙ О ПОГОДЕ.....	163
ОСЕНЬ.....	164
МАГ.....	165
«ПОГОДИ И СУДИТЬ НЕ СПЕШИ».....	167
«ЛЮБОВЬ - РЕНТГЕН».....	168
11 СЕНТЯБРЯ В АМЕРИКЕ.....	169
«КАКАЯ МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ!».....	169
«Я ТЕБЯ ПОТЕРЯЛА».....	170
«ЗАМЕШАТЬ БЫ ОПЯТЬ МНЕ В ОГНЕ».....	172

ИЗ ЦИКЛА РИСУНОК СЧАСТЬЯ

«РИСУНОК ПОТЕРЯЛСЯ СЧАСТЬЯ...»	174
МОДИЛЬЯНИ.....	175
РАМА.....	176
ПИРОСМАНИ.....	177
ЗАЙЧИК.....	178
АЛХИМИЯ ДЕТСТВА.....	179
РАЗЛИТЫЙ СИНИЙ ВЗГЛЯД.....	180
ПРОСТЫЛА В НЕБЕ ГЛАЗ.....	180
«ВНИЗ ГОЛОВОЮ БРОСИТЬСЯ - В СТИХ».....	181
ОКЕАН.....	182
ПЕРЕВОДНЫЕ КАРТИНКИ.....	183
ДОРА МААР. ПИКАССО.....	184
«ОТ ВСЕХ МОИХ НЕСОВЕРШЕНСТВ».....	185
ТЕЛЕГРАММА.....	186
ЧАЩИ НЕ СПЯТ.....	187
СНЕГ В МАРТЕ.....	187
«У ВЕЧНОСТИ НА КРАЕШКЕ СЛОВАРНОМ».....	188

ИЗ ЦИКЛА ЦВЕТЫ И ПТИЦЫ

«КАК В ЮНОСТИ ВДРУГ ЖИЗНИ ПОРАЗИТЬСЯ»... 189	189
МАЛЬВА.....	189
ОН.....	190
ШЕЛКОВАЯ.....	191
Я ХОТЕЛА.....	192

ПТИЦА.....	193
СИНИЦА	194
КОЛОКОЛЬЧИК	197
ЛАНДЫШ	197
ДОЖДЬ 2.....	198
ВЕРНОСТЬ РОЗЫ.....	200
СКВОРЧОНОК	200
СНЫ	201
«МНЕ НЕ НАДО НИ СМЫСЛА, НИ ПАМЯТИ»	201
«ГОДА И ТОЛПЫ - ОДНОЗНАЧНО - ЛЕЧАТ».....	202
«Я ЗЕМЛЕЙ БЫЛА».....	202
ЗВЕЗДА И РОЗА	202
ВЕТЕР.....	203
ВКУС ВИШНИ	204
ТЕТРАДКА	206

ИЗ ЦИКЛА В ДРУГОМ МИРЕ

«МЫ КОГДА-НИБУДЬ ВСТРЕТИМСЯ ВНОВЬ»	207
ЛЮБВИ МОЕЙ ЛЮБАЯ ТКАНЬ БЫЛА МАЛА	207
БЕЗДОМНЫЕ	208
КОНТЕКСТ	208
КАЖДЫЕ ПЯТЬ МИНУТ	209
В ПРОСТРАНСТВЕ ДЕРЕВА	210
ЛИНИЯ СУДЬБЫ	211
ЦЕЛУЮ.....	211
БОЛЬ	212
АДРЕСАТ	212
ВАХТЕР ОСЕНИ.....	213
«У ВСЕХ, У ВСЕХ УЖЕ ЗА ОКНАМИ ДЕКАБРЬ».....	214
ВИЙ - АМУР	215
ВСЯКА ЗНАКА СУТЬ.....	216
«В ОБЪЯТИЯХ СИЛЬНОГО НЕБА»	216

ВЕРЛИБРЫ

ПРОБУЖДЕНИЕ	218
«РАСТРЕСКАВШАЯСЯ ЗЕМЛЯ».....	218
«В ГОРИЗОНТАЛЬНОСТИ ПРОХЛАДЫ»	218
«МОЦАРТ».....	219

СОЛНЫШКО	219
«СЖИМАЕТ ГОРОД»	219
«КАМЕННОЕ БЕССИЛИЕ ЗАМУРОВАННОЙ»	219
БОГ	220
ПАМЯТЬ	220
«ТЫ МНЕ - АД. ТЫ МНЕ - ГОЛЬ»	220
«ПОЭЗИЯ»	221
ВОПРОС	221
«А ЛЮБОВЬ ВСЕ ДЛИТСЯ, ДЛИТСЯ...»	221
«ГОСПОДИ, Я ВСЕГО ЛИШЬ СНЕЖИНКА »	221

ENGLISH SNAILS

DEATH.....	222
TASTE OF CHERRIES	222
ELEPHANTS AND GRASSHOPPERS	223
SNAILS AND BLUE BIRDS.....	224
SUNSPOT.. ACCATTONI.. PASOLINI.....	228
PETERSBURG.....	231
TO THE POET. MUSIC.	232
STOOL.....	233
TO THE INNOCENTS OF ALL TIMES	234
PIECE OF SILK.....	236
DREAMS.....	236
CURSIVE	237
WINDOW.....	237
DORA MAAR. PICASSO.....	238
LIGHT BLUE	240
LIFE.....	241
THE SOUL OF THE CLOWN. SWAN LAKE.....	241
WILD MEADOWS. LOVE UNDEFINED	242
SLEEPWALKING	244
MEIN KLEIN SCHTERN.....	245
<i>НА СНЕЖНЫХ ПУТЯХ</i>	<i>248</i>
<i>УЛИТКИНЫ ШУТКИ.....</i>	<i>256</i>
<i>В ТУМАНЕ МОРЯ ГОЛУБОМ</i>	<i>260</i>

price: \$13

Напечатано в ООО „Фаворит Принт“
Printed in LTD „Favorite Print“

price: \$13



ISBN 978-9941-0-4733-6



9 789941 047336